

[Polaris]



# КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТОК

Фантастика Серебряного века

Том IX

# POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXXIX



**Salamandra P.V.V.**

# КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТOK

Фантастика Серебряного века  
Том IX

Подготовка текстов, составление  
и комментарии  
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Колдовской цветок: Фантастика Серебряного века. Том IX. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 342 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXXIX).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить созданный пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



*Королевской  
убож*

**КОЛДОВСКОЙ**



**ЦВЕТОК**

**Вячеслав Шишков**

**КЕДР**

Юбиляру П. М. Вяткину  
в день его 25-летнего юбилея  
педагогической деятельности — посвящается

Кедр, высокий, развесистый, мощный, с глубоко ушедшими в родную землю корнями, гордо стоял на поляне и шумел своей буйной, вечно зеленой хвоей.

Солнце склонялось к западу и, рассекая мрачную тучу, повисшую на холодном сибирском небе, бросало свои радостные лучи на поляну и дрожало тихими отблесками на раскидистых, ароматных хвоях кедра.

И радовалось солнце, торжествуя победу над тучей.

Радовалось и звенело чуть внятной, победной песнью на голубых колокольчиках, незабудках, ландышах, притаившихся возле, в зеленой мураве поляны.

И весело рокотал кедр, содрогая свои пышные хвои, и вторил песне солнца.

А туча плакала горько и неслась дальше, бессильная, роняя скорбные слезы.

Возле кедра стояла белая березка, с нежными листьями, с белым, стройным стволом, радостная, нарядная, пышная.

И кедр любовался ею.

Фиалки, ландыши и другие цветки с детскими, ясными глазками любовно жались к ней, вползали вверх, стараясь перегнать друг друга, а она, белая березка, свесив свои зеленые кудри, что-то тихо шептала им.

И ликовали фиалки и ландыши и другие цветы с детскими, ясными глазками.

Но, чу! Дрогнула и затихла вдруг песня солнца, и все притаилось и замерло.

Хищным клекотом огласилась поляна. То стая коршунов, взмахнув раз-другой крыльями, неслась за роем испуганных птичек.

А те в ужасе, в смертельном страхе молили небо дать им защиту.

Небо глядело на них миллионами равнодушных глаз.

Небо молчало.

Они, обессиленные птички, то припадали к земле, то вспархивали кверху и не замечали, что кедр давно уже машет им своими ветвями, давно посылает проклятья хищникам и ласково манит к себе трепещущих в ужасе птичек.

Но вот — увидали. Чирикнули радостно и ринулись к кедру, и прильнули к нему, и замерли между зелеными хвоями.

Тихо шептали:

— Спаси нас, кедр... заступись... О, кедр, не дай нас в обиду...

А кедр рокотал, кедр потрясал вершиною, кедр был гневен.

И боялись хищники грозных взмахов его ветвей.

Боялись, и презирали себя, и ненавидели кедр.

В злобной ярости бросались они к кедру и отлетали прочь с подшибленными крыльями.

Кедр был справедлив и гневен.

Кедр рокотал.

Злобно кричали коршуны, яростно сжимая острые когти. И бросались вновь, ломая ветви кедра.

Но недолго продолжалась неравная битва. Все больше и больше вылетали крылья у коршунов, все грозней становился кедр.

И полетели прочь хищники — мимо березки, мимо одного кедра, мимо другого, стоящих вблизи.

Много раз спускалось на землю лето, и заливало поляну ярким, играющим светом солнца, и украшало ее цветами и травами.

Много раз приходила зима и приносила с собою стон и хохот метелей и белый покров холодного снега.

А кедр все стоит на той поляне, угрюмо смотрит вперед, высоко подняв голову, как рыцарь с приподнятым забралом.

И в тихие летние зори, и в морозные зимние дни слетаются до сих пор к нему птички со всех концов обширной

поляны, смело садятся в его пушистые хвои и поют ему песни.

— Спасибо, спасибо, кедр... Кедр, ты справедлив... Мы тебя любим... Ты защищаешь нас... Ты учишь нас жизни... Спасибо, спасибо, кедр...

**Вячеслав Шишков**

**ЧАРЫ ВЕСНЫ**

Малиновка, уцепившись за ветку боярки, насвистывала весенней порой свою песенку, а я, усталый и одинокий, лежал под кустом и слушал и старался понять, что она напевает, что выговаривает, какую печаль или радость хочет поведать пылавшему за рекой закату.

— Малиновка, милая маленькая птичка, — тихо прошептал я, боясь вспугнуть певунью, — вот ты прилетела из далеких стран, оттуда, где солнце радостней и нарядней земля, где голубей небо и ярче табуны полных звезд; скажи мне, малиновка, что ты там видела, весел ли там человек или такой же он, как и здесь, на севере, хмурый и несчастный?

Долго не мог я понять, что стала она наговаривать, потом открылась мне тайна ее слов, и я чуял сердцем смысл ее щептанья.

Она пела, перепархивая с сучка на сучок:

— Слезы, слезы, маленькие, блестящие, как капельки росы на кустах, слезы человека. И там, и там. Зачем плачет человек, зачем редко поет песни, зачем он груб и убог и жесток сердцем, сидят в тесных городах, а в поле цветы, а в поле трава и птицы, мотыльки и простор. Какая ширь, какая высь. Нет, — сидит и плачет, и горюет. Везде, везде. Эх, человек... Нет у тебя крыльев, человек... Мне жаль тебя, человек, но как я помогу: я маленькая и слабая, а ты такой большой, большой... Помрешь ты, человек, сгниешь в земле, и не увидишь цветов, и не услышишь пенья птиц. Зачем все захотел взять себе? Устанешь, человек. Отдохни, отдохни. Уйди в леса, любуйся небом. Гляди, гляди, как горит закат, гляди, гляди: белая большая птица летит под облаками и вся розовая на заре сделалась. А я вот здесь сижу, и мне хорошо, и я вижу тебя: упал ничком на землю, закрыл лицо ладонями и вздрагиваешь плечами. Зачем, зачем? Эй, повернись лицом вверх, смотри в небо. Гляди, гляди: сейчас загорится звезда, и я буду петь тебе песни всю ночь до расвета. Зачем стонешь? Эй, повернись лицом к небу...

Долго пела она, кого-то кликала тонким посвистом и смеялась, а мое сердце сжимала ужасная тоска. И я мучился, не зная, откуда пришла она, мучился молча и лежал не-

движимо, припав лицом к земле.

А малиновка пела.

Время шло, зажигались вверху звезды, а я лежал и не слушал больше песен птички. И забыл, что кругом лес, что я один в нем со своей тоской. И то ли во сне, то ли наяву, не знаю, учуял я новую песню, просящуюся в душу, как дуновение тихого ветерка. Чуть внятно звучала она откуда-то сверху, простая и чарующая, едва касаясь души.

— Я звездочка, такая далекая, что только мысль одна способна одолеть пространство, разделившее нас с тобой, человек. Далекый и близкий мой, неведомый я родной. Я люблю тебя. Да, я люблю тебя, и твою землю, и твою печаль, и слезы.

— Ты малиновка?

— Нет, звезда. Я маленькая, такая далекая, далекая звездочка, и пока ты на земле, человек, ты не придешь ко мне, не узнаешь волшебных и радостных чар моей жизни; а песни мои тебе грезятся только во сне. Подожди минутку, ах, подожди минутку, милый: велика ль жизнь твоя: едва успеешь оглянуться, и гаснет, и уходит, и клонится к западу. Не длительней, чем свет зарницы. Потерпи.

Весь замер я, слухом до краев переполнился, боюсь спугнуть с ресниц сны....

— Птички нет, звезды нет, неба нет!

Что такое? Грубо кто-то крикнул во тьме и замолк, а звезда все пела и пела, как скрытая за облаком скрипка.

— Неба нет!! — под самым ухом рявкнул голос, и я вскочил, вздрогнул и быстро зашагал к опушке леса, провожаемый песней малиновки.

— Стой, стой, — пела она, — мне жаль тебя, человек, отдохни, человек... Гляди, гляди: скоро из-за горы взойдет солнце...

Но я шел быстро, неся в груди тревогу. Я спешил к горе, чтоб на ее вершине приветствовать пробуждение солнца. И чем быстрее шел, тем крепче сжимала мое сердце печаль. А в сознании трепетала, как мотылек у огня, мысль:

— Зачем все захотел взять себе: устанешь, человек... Помрешь, сгниешь... И не увидишь Неба.

— Что?! — кричу громко.  
В ответ звучит в болоте хохот.

И вновь:

— Помрешь... Сгниешь...

— Ну?

— И не увидишь Неба...

Надвинув крепче шляпу, бегом несусь к горе, взбираюсь на ее вершину, дышу всей грудью и терзаюсь надеждой и злом. Уже золотилась заря на востоке, шапкой-невидимкой принакрылись в небе звезды, а внизу темной зеленью щетинился лес.

Вдруг спустилась в душу радость и глазах встали слезы,

Поклонился северу, поклонился югу и западу и, повернувшись к выплывающему из-за снеговых хребтов дню, сорвал с головы шляпу и закричал так громко, что замолкли в кустах соловьи:

— Здравствуй, солнце!

И, обернувшись к болоту, где хохотал дьявол, еще громче крикнул:

— Лжешь! Лжешь! Небо есть и я его вижу.

**Вячеслав Шишков**

**КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТOK**

Илл. П. Наумова



1

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек, на тысячу верст тайгу исходил: белковать ли, медведей ли бить, первый мастак. А соболь попадет — срежет за милую душу и соболя. И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь, какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай, на сотню сажень отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал... А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

— Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он не душевреден... Иду как-то я с Лыской, а он, падло, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь — и то вспомнешь ...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется какой-то

за мороженой сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало тьякает, когда сорвавшаяся с сосны шишка обнаружит притаившегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем, — кряхтит дед и надбавляет шагу.

А вот и зимовье.

Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

## 2

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, посматривая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто?.. Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, рылом-то в шубу... Он чичас к потолку подымет... От-та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись, — скомандовал дед раскатистым своим басом, — а я дыру открою, надо дым на волю выпустить. — И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвои, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а... — тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом, — ты говоришь: тайга... Тайга, брат, охото-о-о-о... И народ в ней другой, особый, прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед у костра стоит, вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородину.

— Да и вправду молвит, ну кто округ нас есть живой? Медведь да тунгус, вот и свет весь... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо... И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет, нет да и... Тыфу! чтоб те пятнало, окаянного! — вдруг плюнул дед, — гляди, каку дыру прожег, — и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоравшие дрова.

— Что ж промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать... Ну, быдто сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей, да улетел бы к самому небушку... Да-а-а... А то тайга, тайга, никакого тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди уж, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем.

Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их хвостами вместе по двенадцати штук, в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подседа к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись, знай: ночь долгая... Поди, намаялся день-

то деньской...

3

Мы лежим с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажой, потолок и стены тихо колыхнутся в лучах костра, а за крохотным над скамьей оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку, мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру.

— Ну, вот, теперича, коли так, слушай...

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я в та-поры мальцом был. Да. И вдруг, братец ты мой, начали мы с матерью замечать, что с тятей чего-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя предупредить, справно. Сядет, бывало, тятя под окошко, подшибется рукой, да и сидит, как статуя, молча. — «Ты чего-й-то, Терентий?» — мамынька окликнет. — «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще, подшибившись, сидит. — «Да ты бы хоть поел, на-ка, щербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» — А сам по сердцу ладонью стучает. «Ну-к иди, не-то, в баньку, похвощись». — «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз, да марш вон. А мамынька — выть. Уж ночью придет батя домой, к петухам, почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя все не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а потом опять к нему лихо причепится. Ах, ты, Господи. А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты, пропасть. Так вот и маялся. — «Да чего это с тобой, Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. — «Тос-

кливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска»... а у самого слезы. — «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока болезней способствует». — «Молчи, дура-баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича слушай, кака оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то, Ну. вот... Заходит к нам в этак-то время бродяжка, так, мозгляк какой-то, ночевать просится. Ну, что ж, ночевать, так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. — «Откуда Бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, — говорит, — верстах в десяти от вас — чудо». — «Какое чудо?!» — отец обрадовался. «Да, — говорит, по Нижней Тунгуске из Енисейска города на Лену в каторгу преступников в лодке бичевой тянут, а среди их, — говорит, знаменитый разбойник Горкин с полюбовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, — говорит, — никакие цепи, никакие остроги не держут... Слово такое знает, сколь раз убежал... Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятки и глаза загорелись, аж задрожал весь. — «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, одначе мамынька умолила тятю, не потрогал меня, один ушел. Вот ждять мы тятеньку, ждять, нету. Опосля того, этак через неделю времени, бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, — говорит, — Акулина, вот чудо, так чудо видал я», — и за чаем начал нам, значит, все по порядку, что и как.

До самого утра я, разиня рот, слушал.

«Вот, прихожу, — говорит, — я на Ерёмину Луку, а там, действительно, костер горит, а возле костра люди. А туман такой стояль, что страсть. Вот поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу, все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазами, я так назад и подался: «Чего, — говорит, — испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, — говорит, — не видал, ну, до чего у ней, говорит, глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в

шитике», — говорят мне. Я туда. Сидит мужичища, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепями весь окован.

Как взглянул я на него, сробел, жуть на меня напала, плюнул я, век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, ну, прямо королева: «Дозвольте мне, — говорит, — на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная — шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься». Вдругорядь улыбнулась женщина, подобрала юбочку, да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, — говорит мой родитель, — покойна головушка, дожидаясь ее, прямо ну, вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну, прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал ну, только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку: «Вот, — говорит, — мужичок: сколь времени я такой цвет искала, нигде не могла найти, oprичь этого места. Беги, говорит, мужичок, к лодке, а я с этим цветком под водой пойду, я вас наздогоню». И не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я: «Ай-ай! караул!» да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшный: сколь разов, — говорит, — я под берег кубарем летал. Ну, кой-как догонял шитик: «Стой, кричу, стой. Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, говорит, туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времячко, как взывает вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. А туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком, да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь». Ну, мы ничего, оправились.



Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток этаким же побытом под водой ходила. Да...

— Ну, теперича, паря, давай курнём.

#### 4

Накурившись всласть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем, бишь, я остановился-то... Да-а-а... Этово, как ево... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал;

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду»... — «Куда ты, что ты?»... — «Пойду счастье пытатъ». — «Очнись, одумайся»... А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали: как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга эн така, конца краю ей нету...

А тут пошел это я с ружьишком линных уток пострелять в Ереме-реке, вот, братец ты мой, подхожу, это, я к берегу, слышу: схлопало что-то по воде. Я испужался, схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь реки вынырнул, да к берегу по саженкам чешет. Глядеть-глядеть, Господи, Царь Небесный, да ведь это тятя. Я к нему: «Тятенька, — кричу, — тятенька!» Подбежал, повис у него на шее, да ну реветь в голос. «Ты что же это, тятенька, задумал?» — «А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо отыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы... Возле шалаша на козлиных жердочка строганная, а на ней всякие нанизаны травы: «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей». — «Тя-

тенька, мамынька меня за тобой послала.... Пойдем». — «Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к речке. Разулся опять, разоблолся, взял из кучи один цветок белый, зажал в горсть, разбежался, да бултых в речку, на самое дно. Ну, я стою, разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посередь речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, — кричит, — не тот!.. Дай-ко-сь синенький». Да так до самого вечера и нырял все с разными цветками.

Ну, одначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал, это, меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слышал, — говорит, сказку, как Иван-царской сын золотых кудрей на колдовском коне за тридевять земель ездил, али про Жар-птицу, али про ковер самолет... Вот то-то и есть, сынок. Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух, ты, Господи!..» Обнял это он меня, да таково ли страшно задышал... Я уставился на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут ...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под нарами тихо влаивала во сне Жучка. А в костре попискивали и о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же эта вся побывальщина окончилась? — спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А окончилась она так, милый... Вернулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот, в поздню пору, уж когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни-гу-гу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал цветы пытать». Не прошло и трех ден, хватъ-похватъ, тяткин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с

мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана-то от тунгусов принимала, нет. Прямо, как канул.

Уж ко Звижению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избу сосед наш, Онисим. Покрестился на святы, «здорово, — говорит, — живете», а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим», — мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся». — «Где?!» — «Известно, в тайге». — «Ну?!» — «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Матерь моя так с лавки и покатила. А он: «Ехали мы, — говорит, — из кедровника с орехов, глядим, что за оказия! из-под хворосту ноги обудти торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветок желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел, да в поднебесье лететь на нем, навроде Сивки-Бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая.

Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, льющийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо...

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?.. — испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся оцетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завывло, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а!.. — дверь настезь:

— Свят, свят! ..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, заухало...

— Аминь, аминь!.. — взревел дед и грянул из ружья...

— Сгинь, нечистая сила, сгинь!.. — и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками черкнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился:

— Ну-ко, благослови Христос, — и как-то по особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь, как я его из ружья-то ожег подходящие.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган... — заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?!.. Как не ураган... Много ты смыслишь... Вот пойдем-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгой. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была жуткая тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?!.. Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь засиял костер. Мы вымели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там, быдто, блазнишо, значит, по ночам рыхало... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то я филином летал над тайгой, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.



**Дмитрий Соловьев**

**СМЕРТЬ ШАМАНА**

Мрачно и неприветливо выглядит амурская тайга поздною осенью. Пожелтела и осыпалась мягкая хвоя с высоких, стройных лиственниц, заросли молодых кустарников стали ажурными и прозрачными настолько, что совершенно перестали скрывать не только пугливых, грациозных коз, но даже маленьких зверьков и птиц. Печально склонилась к земле высокая, густая трава, покрывавшая летом роскошным зеленым ковром кочковатые, болотистые луга: подрезали траву ясные морозные ночи, одевающие белым пологом инея всю зелень. Торопливо, стая за стаей, звеня крыльями, неслись к югу утки, торопясь спастись от надвигающейся зимы, и часто из поднебесья доносилось мелодичное, щемящее душу сладкой тоской гоготание гусей.

В синеющей дали, там, где неясно рисуются легкие контуры высоких сопок, затрубил изюбрь<sup>1</sup>, вызывая на бой соперника, и, заслышав ответный голос, мчитя, очертя голову, через камни и бурелом, не зная о том, что впереди его ждет верная смерть от пули притаившегося за деревом манegra<sup>2</sup>, который при помощи деревянной трубы удачно подманил ослепленного страстью и ревностью зверя.

Бежит, торопится по узкому ложу таежная речка; как хрусталь прозрачна чистая, холодная вода, каждый камешек виден на дне: далеко ей бежать — в широкую Зею сначала попадет она, а потом, смешавшись с желтыми водами Амура, докатится и до соленого океана, который бесследно проглотит ее.

На крутом берегу, имея сзади себя черную стену леса, расположились три небольших конических юрты из бересты. Три семьи манегров недавно перекочевали сюда, потому что издавна славились окрестности изюбьями и сохатыми<sup>3</sup>. Но сегодня никто не ходил на охоту, потому что приехал к ним и остановился недалеко «большой нойон», — из-

---

<sup>1</sup> Изюбрь — сибирский благородный олень (*Здесь и далее прим. авт.*).

<sup>2</sup> Манегры — бродячее, вымирающее племя, живущее в среднем течении р. Зеи и по ее притокам. Сами себя манегры называют «бойе».

<sup>3</sup> Сохатый — лось.

далека приехал, из той самой деревни, где живет сам «ад-зен<sup>1</sup>, юрта у которого лучше, чем у нойона, который начальник над русскими, что приезжают сюда, рубят и жгут тайгу и землю режут, так что того и гляди бурханы<sup>2</sup> шибко рассердятся.

Юрта «большого нойона» вся белая, тут же недалеко на берегу стоит, а сам нойон в ней сидит и что-то пишет все: боялись сначала «бойе», как бы худого из этого не вышло, а потом смешно стало, больно уж потешные вещи спрашивает нойон. И все-то надо ему рассказать: и сколько «камака» (изюбрь) убили за год, и сколько «мурин» (лошадь) имеют, и как зовут, и сколько лет, и сказку расскажи. Старая Дашичен унты<sup>3</sup> рваные принесла, так купил и деньги отдал, а чего они стоят? Ребятишек сахаром угостил, так что их и не выжить из белой юрты.

Долго присматривался старый шаман<sup>4</sup> Хойбо Манягир ко всему, что делалось около него. Сто лет скоро будет ему, не раз видал он нойонов, и мало хорошего ждет от них. Помнит он еще то время, когда о русских здесь никто и не знал, а китайские нойоны приезжали на Амур ясак собирать; помнит он и палки, которыми его угощали по пяткам за то, что мало соболей принес, а без малого 70 лет прошло с того времени. А хорошее все-таки то было время: и зверя много, и лошадей считали десятками и сотнями, соболя водились, да и «бойе» было не тридцать юрт всего, как теперь, а столько, что и сосчитать трудно.

Но теперь старик был удивлен: когда нойон сам первый вошел к нему в юрту, поздоровался за руку и уселся на почетном месте против входа, закурив трубку и не забыв при этом угостить табаком окружающих, шаман как-то почуствовал, что не доверять нойону нечего. Со всей доверчи-

---

<sup>1</sup> Царь.

<sup>2</sup> Бурханы — вообще различные боги и духи или их изображения.

<sup>3</sup> Кожаная обувь вроде чулок.

<sup>4</sup> Шаманом называется колдун или жрец у диких племен. Он является вместе с тем и врачом, изгоняя духов болезни из больного.

востью чистой души дикаря, он сразу полюбил его, а после того только и думал, чем бы угодить своему гостю. Все немногочисленные запасы и деликатесы первобытного стола были предложены с таким радушием, какого не встретишь никогда в городе. Но ничем нельзя было больше угодить гостю, как рассказами о старине, про далекие, подернутые седой дымкой забвения и поэзии времена. И разговорился старый манегр: вспомнил, как мальчиком пятнадцати лет, в первый раз присутствуя в юрте, когда шаманил дед, его начало трясти, и почувствовал он ясно, как духи входят в него. Через пять лет после того он был уже знаменитым шаманом и стекались к нему издалека манегры, чтобы помог он им и от болезней, насланных злым Ру, и от неудач на охоте. И тогда выпадали плохие года, но не спускалась еще тогда на родное племя «конгнорин долъборон» (черная ночь). Свободно кочевали и бродили по нетронутой тайге манегры, а о русских, которые теперь пробираются в самые глухие уголки и ищут там золото, и помину не было. Манегры и не знали, что такое золото; слова такого на их родном языке нет, а так и называют его «золото». Много зла вышло из-за этого золота: и тайгу пожгли, и зверя поистребили, и манегров шибко обижали. Бывало, что наткнутся русские на стойбище, а там бабы да дети одни, сами хозяева на охоту ушли; вернутся они домой, а дома разгром: и лошадей увели, и меха забрали, да и баб шибко обидели. Погонятся иногда за русскими, да что с ними поделаешь, когда ружья их на сто сажень бьют, а у манегра луки да стрелы всего. Но припомнил Хойбо, что и русским иногда приходилось плохо, так плохо, что и вспомнить страшно. Давно это было, пожалуй, больше полсотни лет уж прошло. Позднею осенью, реки уже становиться стали и морозы ударили порядочные, вышел Хойбо с семьею на Амур, чтобы мясом раздобыться — коз там много появилось. Запоздал он как-то на охоте, и солнце давно уже закатилось за сопки, когда вышел охотник на берег Амура. Далеко было еще до своей юрты и решил он переночевать тут же у огонька; выбрал местечко удобное за камнем и стал высекать огонь, как вдруг почудилось ему, что вблизи где-то человек заговорил. Вскочил Хойбо

на ноги, за лук схватился, — не ровен час, в тайге всяко бывает. Обошел тихонечко скалу, за которой сидел, видит сквозь кустарник береговой, огонек чуть тлеет: подкрался совсем близко, — что за диво — трое русских сидят, двое лежат, будто спят, и над спящими другие будто что делают. Всмотрелся Хойбо и затрясся, как лист в бурю: видит, что спящего ножами режут, а сами-то такие слабые, что и нож в руках как следует не держится; а один смотрел, смотрел — да как вцепится зубами в спящего. Догадался тут Хойбо, что не спящие то, а мертвые, вышел из за кустов, лук наготове держит; русские увидали его, да как заговорят что-то по-своему, а в то время не говорил он еще сам-то на их языке. Только догадался, что помощи просят у него, двое товарищей умерло, сами они обмерзли так, что идти не могут дальше и есть нечего. До того дошли, что от товарищей мертвых куски мяса стали отрезать и есть<sup>1</sup>.

Достал Хойбо бывший у него кусок козулятины, огонь развел большой, успокоил, как мог, бедняков, а сам чуть не бегом пустился к юрте своей.

Солнце еще невысоко поднялось утром, когда вернулся он обратно с женой и нескольких лошадей привел. Перевез он обмороженных солдат к себе в юрту, а покойников под камни запихали, чтобы лисицы не растащили. Месяца два прожили у него солдаты, пока не оправились совсем, а потом он их доставил в большую деревню русскую, что строилась тогда далеко вверх по Амуру. Шибко хвалили его русские и подарков много дали.

Понурился старый шаман, вспоминая славные годы молодости. Давно уже в могиле любимая жена его Онгно; остался он сам, как корявый сухой кедр среди молодой поросли. Трудно ему кочевать с места на место, и давно не шама-

---

<sup>1</sup> Исторический факт. Это возвращалась в 1856 г. с низовьев Амура третья партия солдат, которую захватил ледостав и провизии, оставленной на этапах, расположенных слишком далеко друг от друга, не хватило. Много разбредшихся солдат погибло (причем удостоверены факты людоедства), а часть была спасена инородцами.

нил по старости. Правда, что лучше было в старину, когда манегры убивали своих стариков, не могущих уже переносить трудностей бродячей жизни.

Поднял голову Хойбо, видит, нойон сидит, тоже задумался, слушая про стародавние времена. Рядом речка журчит и деревья о чем-то печально перешептываются. Встал на ноги «великий шаман», выпрямил спину, — «Слушай, — говорит нойону, — просил ты меня шаманить, да отказывался я; вторая осень проходит, как не брал я “умтуун”<sup>1</sup>, ослабел я и не слушают меня ни “гайя”, ни “кадар”, ни “нянгня”<sup>2</sup>. Недолго уж осталось мне смотреть на тайгу, и хочу я в последний раз сегодня просить “огдыге бугха” (великих богов), чтобы сжалились они над “бойе”. Пусть возьмет меня злой Ру, если нужна ему жертва. И, как из старого гнилья идут зеленые ростки, так пусть от моей смерти родится новая, светлая жизнь для “бойе”».

Темно уже стало кругом, когда стали собираться манегры в юрту к старому шаману. Небо, ясное днем, заволочло тучами и начинал накрапывать мелкий, но упорный осенний дождик. Ровно и грозно шумела тайга. Наступала мрачная сентябрьская ночь.

Юрта Хойбо была наполнена народом. По внутреннему кругу, поближе к огоньку, разведенному посередине, сидели мужчины, посасывая трубки с длинными чубуками. За мужчинами разместились женщины, некоторые с грудными младенцами, а сзади выглядывали толстые любопытные мордочки ребятишек. Здесь же примостились ручной дикий гусь и лисица. Все молчали. Изредка тишина нарушалась только треском огня или тяжелым вздохом одного из присутствующих. На главном месте сидел шаман, скрестивши под себя ноги, и сумрачно смотрел на огонь. Но вот

---

<sup>1</sup> Бубен — главная принадлежность шаманского ритуала; при помощи бубна и различных манипуляций призываются добрые духи, изгоняются злые и сам шаман приходит в транс.

<sup>2</sup> Имена различных богов; чем сильнее шаман, тем больше духов-покровителей он имеет.

он поднял голову, подал знак, и два его любимых внука и помощника начали приготовления. Из дальнего угла достали турсук, лежавший отдельно от прочих вещей, и вынули из него аккуратно свернутое шаманское одеяние. Глухо звякнули бубенцы, нашитые повсюду. Шаман с трудом поднялся с места и помощники стали одевать его. Надели «шамашик» из лосиной кожи; на плечах было пришито железо, а на руках подвешено много платков: это изображало крылья, чтобы мог шаман летать в страну духов. На груди и на спине висели большие медные круги «туль», служащие защитой от стрел злых духов, а мелодичные бубенчики и колокольчики привлекали внимание добрых духов. Сзади, ниже пояса, было пришито множество разнообразно вышитых лент, изображавших перья хвоста, тоже для полетов в небо. На плечи одели «джякаптун» (воротник), а на голову железную шапку «бумбуке» с лосиными рогами из железа и густой бахромой, скрывающей лицо. Встряхнувшись всем телом, так что гром пошел по всей юрте, Хойбо уселся опять на свое место. Один из помощников нагрел «умтуун» (бубен), поворачивая его над огнем, чтобы кожа натянулась и звенела, как металл, а другой насыпал горсть каких-то кореньев в железную чашку у ног шамана и положил туда углей. Сладкий, удушливый дым поднялся кверху и наполнил юрту. Стало темнее, так как дрова догорали, а новых не подбрасывали, и только груда раскаленных углей освещала красным светом близлежащих, а в дальних углах притаился мрак. Послышался глубокий нервный зевок шамана, и первый негромкий, протяжный удар в бубен задрожал в воздухе и пропал где-то вдали. Второй удар последовал за первым и, все учащаясь, загремели мощные удары, сливаясь в непрерывный гром. Далекое эхо повторяло грозные звуки и казалось, что где-то далеко, в глубине черной, как ночь, тайги сидит какой-то великан и могучими ударами будит заснувшие дебри. Внезапно грохот оборвался и в полумраке видно было, как темная фигура шамана, звеня всеми своими украшениями, выросла во весь рост и как бы замерла, прислушиваясь к чему-то. Еще один отрывистый удар — и шаман запел. Полным, глубоким голосом призывал он своих

покровителей-духов, которые помогали ему во всю его долгую жизнь. «Гагугаа, га, га, — звал старый шаман, — приди, приди ко мне из темной тайги, как в старые годы, когда гремел мой “умтуун” подобно горному потоку, падающему со скалы! Услышь Хойбо, укрепи его дрожащие ноги и дай силу рукам, держащим “умтуун”. Пусть меня услышат все великие духи, живущие и в тайге, и в сопках, и в воде, и на солнце, и на луне. Я буду просить за мой народ. Гагугаа, га, га».

И общим хором тоскливо повторяли последние слова все присутствующие.

«Галиля, кигале, — продолжал шаман, — летите ко мне, как летит “илягли” (казарка). Вот я стою перед вами и прошу о жизни и удаче для всех “бойе”! Пусть пропадут как “исангьян” (дым) болезни и водка, которыми наградили нас русские! Галиля! галиля! Верни нам то время, когда у каждого “бойе” были целые “шайбы”<sup>1</sup>, наполненные мясом. Галиля! кигале!» И, трясаясь всем телом, завертелся шаман вокруг себя с такой быстротой, что глаз не улавливал движения. В сверкающий круг слились медные «туль» и расшитые полосы сзади поднялись до уровня пояса, как распущенный хвост орла. Потухавшие угли вновь вспыхнули от ветра и осветили дикую и страшную картину. Где-то в углу истерически взвизгнул и заплакал ребенок.

Внезапно шаман остановился. Страшно было видеть, как он стоял твердо и уверенно после такого бешеного верчения. Выпрямились согнутые обыкновенно колени, и ясно было, что старое тело не чувствовало тяжести двухпудового одеяния. Сквозь бахрому шапки сверкали белки глаз и на губах выступила пена. Звон медных украшений стих, и в наступившей тишине слышно было только, как монотонно накрапывал осенний дождь на берестяную покрывку юрты. И снова страшный удар в бубен всколыхнул тишину. «Улимчан», — воскликнул шаман, и видно было при мерцающем свете, как поднялась его рука с колотушкой. Со страшной

---

<sup>1</sup> Шайбы — это маленькие кладовые на высоких столбах, в которых хранятся запасы манегров.

силой опустилась она на бубен, и вдруг в могучий, полный звук, резко ворвалась дребезжащая, жалкая нота лопнувшей кожи.

Слабый, болезненный стон донесся откуда-то сверху и, неожиданно, покачнувшись, великий старый шаман с поникшей головой рухнул ничком. Жалобно звякнули, ударившись друг о друга, медные «туль», — и все смолкло.

Только дождь продолжал тихо, тихо накрапывать с темного неба, и вековая тайга тянула свою ровную, печальную песню, как стон над мертвым шаманом.

Злой Ру победил, и светлые боги не приняли последней мольбы великого шамана о его несчастном племени.

**Михаил Плотников**

**БОЖЬИ ОЛЕНИ**

Сабанар пришел в пауль (селение). Никто не знал, откуда приходил, куда уходил он, но все привыкли ждать, что с приходом Сабанара прилетит какая-нибудь новость. Переходя из пауля в пауль, Сабанар знал, что творится в тайге.

— Ну, я был в гостях у Мейка<sup>1</sup> — проговорил он, выпивая остатки чая из черного закопченного котелка.

— Парень очень сердится на вас. Но со мной был милостив. Я даже раз хлопнул его по спине ладошей, — продолжал Сабанар, а слушатели хранили молчание.

Многим была неприятна грубая манера говорить слишком непочтительно о богах, но Сабанар несколько не смущался. Даже сам наибольший шаман и знахарь Гузы не раз думал, что Сабанар знает особое слово и живет в ладу с богами.

— Вот так же мы чаян<sup>2</sup> пили с ним. Плохой чаян у Мейка, обеднел бог, теперь больше занимается воровством с сали-уй<sup>3</sup>.

Сабанар помолчал, вытер губы рукавом своей длинной рубахи и полез в карман за трубкой.

— Заходил по пути к Гузы. Старый плут все жалуется на плохое время. Затвердил одно, «люль»<sup>4</sup> да «люль». Я не знаю, что вы ему верите, — я могу лучше его говорить неправду.

Слушатели недовольно усмехнулись, а самый бедный вогул Кирилла, известный под именем Киры, строго заметил:

— Пора бы перестать так говорить. Надо уметь, чтобы быть шаманом. Гузы — большой шаман.

---

<sup>1</sup> Мейк — злое божество вогульской мифологии (Здесь и далее прим. авт.).

<sup>2</sup> Чаян — чай.

<sup>3</sup> Сали-уй — волк, точный перевод: сали — олень, уй — зверь; т. е. олений зверь.

<sup>4</sup> Люль — плохо.

— Знаю... слышал... Немало ты стаскал ему добра, — заметил Сабанар, — если бы все лежало у тебя в амбарчике или юрте, то ты не нанимался бы в работники, не был бы речным вогулом, а завел бы сали<sup>1</sup>, много сали и ушел бы с ними в тайгу, в Ямал- маа<sup>2</sup> ушел.

Сабанар замолчал. Кирилла почувствовал, что Сабанар прав, тот Сабанар, которого все считают «дурачком», говорит правду. Кирилла признал верность его слов, но боялся сознаться.

В тайге слишком много богов, их более, чем вогулов, и наверное, скоро настанет время, когда не будет поклонников, но останется много кумиров. Боги живут всюду, они превратились в гагар, филинов, мохнатых шубных отцов (медведей), хитрых бобров и собак. Где же бедному вогулу умиловать всю эту многочисленную братию, ждущую своего процента с каждой охоты.

— Вот что, Кира, — начал снова Сабанар, — я видел у горы шубного отца, большого шубного отца, он оставил большой след у водопоя. Скажи Вану, а он скажет русу (русскому), мы его уьем. У тебя будут деньги и винка, ты напьешься пьян и развалишься, какдохлая собака или как чирок на песке. Тебе будет весело, и ты будешь думать: мне принадлежат все божьи олени тайги.

Кирилла обиделся бы на такие слова, если бы их сказал не Сабанар. На Сабанара никто не обижался, а, кроме того, все хорошо знали его колоссальную силу.

Вогулы улыбнулись, им понравились острые слова.

— Я думал, ты хозяин божьих оленей, — пробормотал Кирилла.

— Нет. Мейка мне думает подарить своих сали с золотыми рогами, а когда его Торм<sup>3</sup> уьет или сам Мейка лоп-

---

<sup>1</sup> Сали — олени.

<sup>2</sup> Ямал-маа — тундра, дословно — холодная земля.

<sup>3</sup> Торм — верховное существо вогульской мифологии, управляющее всеми богами, оно постоянно ведет борьбу со злым богом Мейка, владельцем оленей с золотыми рогами.

нет от злости, я буду вместо Мейка. Тогда вы меня будете почитать и бояться.

Сабанар громко захохотал. Вогулы не любят смеха и не умеют смеяться громко.

— Ну, я пошел... Ты не забудь, Кира, сказать Вану и русу, я к утру приду.

Сабанар неуклюже, как большой медведь, поднялся и заковылял по тропинке к увалу. Вогулы еще несколько минут потолковали о странностях Сабанара и тоже разбрелись по чумам<sup>1</sup>.

Кирилла долго не мог уснуть, что с ним редко случалось. Он думал о божьих оленях.

Часто домашние олени целыми стадами уходят с дикими в тайгу, там они дичают и живут на воле. Таких оленей называют божьими, т. е. никому не принадлежащими, и бедный речной вогул мечтает, как о чуде, заручить десятка полтора таких оленей; к тому же, они скоро забывают волю и привыкают к чумам.

Много ходит рассказов о бедных вогулах, которые в один день сделались богачами. Эти рассказы походят на детские сказки, но все же в них есть доля истины, детской истины, заложенной в душу простого, наивного маньси<sup>2</sup>.

Даже сам Саввка, владелец трижды кит-сат<sup>3</sup> голов сали, когда-то был небогатым хозяином. Верно, он был много богаче Кириллы, который имеет только дырявый берестяной чум, замороженную лайку, еще более замороженную жену и старое кремневое ружье; но, если бы к стаду Саввки не пристали божьи олени, то Саввка никогда не был бы так богат. У него не было бы большого приплода, волки чаще тревожили бы его стадо, где он стоит чумом, и болезнь не проходила мимо его пастбищ. Божьи олени принесли Саввке счастье, — почему они не могут принести его и бедному Кире?

---

<sup>1</sup> Чум — шалаш, обыкновенно крытый берестом, конусообразной формы.

<sup>2</sup> Маньси — вогулы.

<sup>3</sup> Кит-сат — двести.

Кирилл от волнения поднялся и начал в темноте разыскивать свою трубку

В берестяной чум доносился шум леса; печальные крики филина, похожие то на плач маленького ребенка, то на жуткий хохот лесного духа, дико резали тишину ночи, а отдаленный треск барабана, монотонно выбивающий неясную дробь — раздражал и вместе с тем пугал суеверного вогула. Кирилл боялся этих звуков, они не предвещали ничего доброго. Он знал: тайга шумит и в тихие ночи, филин много лет уже живет на большой сосне у попы-я и каждую ночь кричит, щелкает и плачет. Если же ночью гремит барабан, то значит, старый шаман Гузы разговаривает с шайтанами и пытается будущее.

Наконец, трубка найдена. Кирилл закуривает и снова думает об оленях. Ему кажется много хорошего. Вот он поймал целое стадо оленей тридцать голов. У него самые быстрые, ездовые олени и сам Саввка не раз предлагал ему менять, но Кирилл не соглашается. Теперь он живет в хорошей бревенчатой юрточке, с белым, сплетенным из прутьев, покрытых глиной, камельком, где у него варится налимья уха, чай и оленье мясо. У него полный запас репы, муки... Стены юрочки завешаны рыболовными снастями, а в углу, под полочкой с шайтанами и барабаном, стоит новая длинная винтовка.

Кирилл проснулся. Огнем из трубки он прожег рубаху и штаны и, кроме того, сломал трубку. Он был недоволен и в душе бранил глупые выдумки.

Кирилл вновь превратился в бедняка Кира, покорно склонившего голову перед всем на свете.

## II

Утром меня разбудил Иван. Ласковые лучи солнца золотистыми стрелами проникали сквозь отверстия чума и легкими, дрожащими пятнами ложились на полу. Воздух

был насыщен смолистым запахом хвойного леса и прохладой летнего утра.

— Будет спать. Давай, вставай! Кир пришел. Сказывает, Сабанар пришел и видел шубного отца, — повествовал Иван, немилосердно дымя огромной трубкой.

— Ладно. Иди вари чай, — проговорил я и начал быстро одеваться.

Перед чумом был разведен костер. Чай уже был согрет и разлит в большие деревянные чашки. В стороне сидел Кира, закрывая руками прожженные дыры на штанах, о чем-то беседа с Иваном.

Скоро явился и Сабанар. Я давно не видал вогульского отрицателя, я любил слушать его рассказы, и мне часто казалось, что в Сабанаре живут два разных человека. Он смеялся над вогулами, смеялся открыто и жестоко, бранил их лентями, но вместе с этим любил их и глубоко переживал все беды и несчастья родного народа. Он не верил в богов тайги, он даже говорил непочтительно о Великом Торме, как о лентяе, дармоеде, забывшем вогулов, но, вместе с тем, в душе он был язычником, хорошо знавшим легенды, сказания и песни. Он умел находить поэтические места и передавать их с чуткостью поэта. Богом Сабанара была тайга, великая таинственная тайга с реками, озерами и шатром высоких небес.

— Долго спишь ты, — проговорил Сабанар. — Пайся (здравствуй). Мне Гузы целую ночь не дал спать, все шумел барабаном, звал шайтана, да тот, видно, оглох, так и не пришел.

— Когда-нибудь Гузы тебе отплатит, — бросил еще с вечера недовольный Кирилла.

— Дождется он, — поддержал Иван.

Сабанар усмехнулся.

— Гузы плут, большой плут, но Гузы не охотник, а шаман. Шаман же походит на старую бабу, она только и знает, что ворчать да ругаться. Давайте-ка лучше пить чаян (чай), — добавил Сабанар и придвинул к себе чашку.

— Где был, Сабанар? — спросил я.

— Где был? — переговорил он. — Да везде был. Не люб-

лю я сидеть на одном месте. Все богов ищу, много видел шайтанов, двух пнул ногой, они полетели и даже не пикнули.

Кирилла и Иван бросили пить чай, их поразило безверие Сабанара. Пнуть, наказать домашнего шайтана, если он плохо служит, у вогулов в порядке вещей, но пнуть шайтана в тайге не решится ни один вогул. Такие шайтаны священны и неприкосновенны.

Сабанар несколько не смутился и продолжал:

— У Спора был, люблю я Спору. Один он правильный вогул. Люблю его песни и завидую ему. Вот кому шаманить надо.

— Где видел Спору? — вмешался в разговор Иван.

— У больших гор. Он там живет в оставленном пауле, все налимов ловит.

— Ну, далеко твой шубный отец? — спросил я.

— День пути попы-я, не у первой, а у третьей, мимо мертвого пауля. Если сейчас пойдем, к ночи будем там, нет, не к ночи, а перед утром... В самую пору.

— Ладно. Так надо собираться. Ну, Иван, направляй ружья и пойдем.

Иван лениво поднялся и направился в чум. Кирилла, перевернув вверх дном на траву чашку, снова убрался в сторону.

Через час мы сидели вчетвером в лодке и плыли по спокойной, но быстрой реке. Исполинские ели, задумчивые кедры и низкорослые тальники, как непроницаемые, зеленые стены, огородили мутную полосу воды; они то поднимались по склонам увалов, то спускались и смотрелись в ее воды. Удивленные кулики с меланхоличным криком срывались с коряг, с полузатопленных деревьев и перелетали на другое место, — подальше и оттуда провожали нас осторожным свистом.

Начались камыши. Несколько испуганных гагар неуклюже поднялись и как-то боком, несуразно полетели, чуть не задевая ногами воду. Кирилла и Иван при виде их издали тревожный крик.

— Гагары испугались. А если бы увидели бобра, — выпрыгнули бы в воду, — сострил Сабанар, имея в виду то обстоятельство, что вогулы совершенно не умеют плавать.

Река сделала крутой поворот. Лес поредел, а высокие камни ушли далеко от берегов и чуть ли не достигли самой середины реки.

— Вон попы-я, — проговорил Сабанар, указывая на устье небольшой таежной речки. Собственно, река называлась Синь-я, но т. к. в самом устье, в нескольких саженях от берега, стоит священная сосна, то и река приняла название попы-я, даваемое вогулами в знак того, что где-нибудь по этой реке имеется важный шайтан. Шайтан на Сын-я давно исчез, спрятанный своими поклонниками в более укромное местечко и, может быть, забытый ими там; но сосна, где он стоял, сохранила священное значение. Исполинская сосна, с наполовину сломанной верхушкой и с сухими сучьями, похожими на громадные лапы сказочного чудовища, была увешана цветными тряпками, оленьими, лосиными рогами и шкурками зверей.

— Емас, ос емас! (Хорошо, еще раз хорошо), — пробормотал Сабанар и несколькими сильными ударами весел пригнал лодку к берегу, к самой сосне. Он, не говоря ни слова, схватил свою винтовку, выскочил из лодки и подбежал к сосне. Мы не понимали, что он думает делать.

— А...а...а... — закричали пронзительно вогулы, одновременно грянул выстрел.

Крик вогулов отвлек мое внимание от Сабанара и я не заметил, в кого он выстрелил.

«Наверное, для пущего эффекта всадил пулю в священную сосну», — решил я, но оказалось другое.

Много лет назад на священной сосне поселился филин. Вогулы в появлении филина усмотрели возвращение исчезнувшего шайтана. Они старались его не тревожить, приносить мясо и птиц. Филин жил, да блаженствовал, а по ночам угощал своих поклонников далеко не музыкальными концертами, заставляя их коситься в темные углы чумов.

Сабанар спокойно добил прикладом птицу и возвратился в лодку. Я не менее вогулов был возмущен его поступком.

— Мешал тебе филин? — укоризненно заметил я.

— Очень мешал, — спокойно ответил Сабанар. — В прошлом году я спал под сосной, а он всю ночь бросался шишками и мешал мне спать.

Я рассмеялся.

— Потом, вредная он птица, мало ему натаскивают еды, он еще уток грабит. Сидит утка ночью на гнезде, а он ее в голову.

Я согласился с доводами Сабанара, но в вытянутых физиономиях вогулов проглядывал большой испуг.

— Новый прилетит, а то я на место его сяду, только побольше таскайте еды, — утешал их Сабанар.

Мы поплыли дальше под жаркими лучами солнца.

— Это что за юрта? — спросил я. На высоком берегу показалось небольшое деревянное строение, не похожее на вогульские юрты и на зырянские зимовки.

— Это... это... — тянул Сабанар. — Икона там, — наконец проговорил он, подыскав нужное слово.

Строение оказалось часовенкой. Не знаю, почему в этих дебрях выросла забытая часовенка с крутой крышей и с маленьким потемневшим деревянным крестом. Может быть, суровый проповедник много лет назад проник сюда и собственными руками заложил ее, как камень новой веры. Но прошли года, а может быть, две-три сотни <лет>, проповедника не стало, а дело его рук все еще стоит на берегу мутной реки и немногим расскажет о том, что было и чего не стало. Я перекрестился, за мной вперегонку перекрестились вогулы.

— Раз батя ездил здесь, карасей ехал ловить, по пути сбор делал, — начал Сабанар, — думал он народ собрать и службу сделать, да Николы не было.

Я понял, что в часовенке не оказалось икон, их, наверное, растащили вогулы, плохо усвоившие значение икон, и спрятали в своих юртах вместе с шайтанами.

«Разве этот необозримый лес, эти воды и бирюзовый свод небес — не Великий Храм — Великому Богу?

Разве не призывает здесь все к молитве?» — думал я, а лодка бежала мимо таинственных берегов таежной реки.

### III

Ночь тихо накрыла лес, воды и камыши своим темным покрывалом, усеянным далекими, мигающими огоньками-звездами, принесла с собой новые звуки, странные и таинственные, как лицо тайги; их чуткое ухо не могло уловить в дневном шуме, но ночью они проснулись и заходили в темноте, заставляя ближе подвигаться к костру и с тревогой коситься туда, откуда они раздавались. Бесчисленное количество комаров на разные голоса тянули свои однообразные песни и немилосердно жалили лицо, руки, забирались в рукава и за ворот и там неприятно щекотали тело.

Мы прибыли на третью попы-я.

— Ну настоящие купцы, — иронизировал Сабанар, энергично отбиваясь от комариных атак. — И столько же их в тайге, сколько купцов.

Сабанар часто сравнивал таежных купцов то с комарами, то с шайтанами.

— Шайтан берет с вогула, но зла не делает, вогул сам зло выдумывает и сваливает на шайтана; купец хуже шайтана: он берет до тех пор, пока ничего не останется, но вогул не видит его зла. До смерти ему будет говорить: «Пайся, ойка рума!» (Здравствуй, старый друг)!

Сабанар был глубоко прав; где появился таежный купец, а он проникает всюду с нартой, нагруженной плохой водкой, разбавленной денатурированным спиртом, там вместе с ним приходит пьянство, болезни, исчезает честность и детская простота дикарей сменяется тупым недоверием.

Несмотря на комаров, усталые и измученные дневным путешествием, мы заснули, предварительно вымазав руки и лицо дегтем, смешанным с каким-то вогульским снадобьем с резким, неприятным запахом.

Утром проснулись рано. Наш костер потух, над кучей седого, рыхлого пепла; речной ветерок шумел в прибрежных кустах, обдавая нас сыростью и холодом.

— Асзерма (холодно), — пробормотал Сабанар. — Эй, Ки-ра! — закричал он, расталкивая спящего Кириллу. — Ундэн!

Маян чаян пэ-тэнгу (Вставай, давай чай вари).

Кирилла неохотно поднялся, взял котелок и, побрякивая медными монетами, вплетенными в его две черные косы, перевязанные красным шнуром с медной цепочкой, побрел к реке, протирая на ходу кулаком глаза.

Чай и солнце быстро согрели нас. Мы сложили лишние припасы и провизию в лодку и отправились во владения шубного ойки (медведя). Сабанар вел нас самым попы-я через коряги, валежник и густые кусты черемухи с массой зеленых, неспелых ягод.

— Поворожить бы, — несмело начал Иван, по обыкновению вогульских охотников.

— Поворожи, — милостиво разрешил Сабанар. — Вот дойдем до Мань-пауля.

Лес начал редеть, местами виднелись высокие пни срубленных деревьев, грубо вырезанные изображения духов, священные знаки и кости животных. На широкой поляне, поросшей низкорослым ельником вперемешку с березами, выглянуло полтора десятка юрточек, почти столько же высоких амбарчиков.

Я ждал: вот почуют наше присутствие собаки, выбегут навстречу и зальются звонким лаем. Но в пауле было мертво и тихо; несколько рябчиков сорвались с куста черемухи и сейчас же расселись по деревьям, вытягивая шеи и посматривая на нас не то со страхом, не то с удивлением.

«Вогулы уехали на рыбалку», — решил я.

— Вот и Мань-пауль, — проговорил Сабанар. — Теперь никто здесь не живет. Болезнь пришла, померло много. Олень падал, рыба и зверь ушел. Каждый год помирали. Давно это было.

Я впервые встретился с зачумленным паулем, потом мне встречались и другие. Из года в год, часто большой пауль посещает эпидемия и появление ее вогулы приписывают несчастью места или гневу богов. Суеверные и пугливые маньси (вогулы) в каждой случайности, в каждом новом звуке отыскивают особое таинственное значение и в безотчетном страхе бросают насиженные места, переселяясь куда-нибудь подальше от заколдованного пауля. Мне

приходилось целые недели жить в таких паулях и особенного ничего не случалось ни со мной, ни с моими проводниками-вогулами.

Иван остановился и занялся ворожбой. Он вытащил свой охотничий ножик, уравновесил его на острие и ждал, куда он повернет носком.

— Туда, — мотнул он головой, поднимая воткнувшийся в землю ножик.

По лицу Сабанара можно было заметить, что он особого значения ворожбе не придает.

— Кир и Иван, идите туда, — он показал направление. — Мы пойдем суды — прямо. Шубный отец ходит возле болота к реке. У мыска мы сойдемся, там ждите нас.

Иван и Кирилла остались курить, а я с Сабанаром пошел дальше, покидая неприветливый Мань-пауль.

#### IV

Сабанар молчал. Он неуклюже, по-медвежьи, шагал впереди меня, но с большой легкостью перебирался через валужник и на расстоянии трех саженей нельзя было слышать его шагов.

— Сабанар, почему эта река называется попы-я? Я не слышал, чтобы здесь поблизости стоял шайтан.

— Здесь есть шайтан. Знатный шайтан. Хорошо он спрятан. Зимой к нему ездят. Вот летом до него добраться трудно, на болоте стоит.

— Вот что я тебе хочу сказать, — заговорил он другим тоном, — ты слыхал когда-нибудь о божьих оленях?

— Слыхал...

— Это другие, не Мейка сали (олени), у Мейка остались минс (коровы) и последних зыряне утащат.

Озлобление и неприязнь чувствовались в словах Сабанара. Станным чутьем он понял грядущую опасность, он был частичкой молчаливо-задумчивой тайги, душа тайги была его душой и каждый звук ее родил ответный звук в

сердце вогульского отрицателя. Он сознавал, что жизнь вогульского народа в прошлом; обманутые богами, купцами и хитрыми соседями-зырянами, они молчаливо угасают в вечном страхе за будущий день. Но еще более Сабанара страшила культура, он, может быть, первый почувствовал невозможность борьбы с ней и с отчаянием в своих песнях призывал кого-то замедлить ход времени.

— Значит, ты знаешь божьих оленей. Их теперь нет, только маленькие дети могут верить старым сказкам. Но их можно сделать, они будут божьими.

Я не мог понять, куда клонится речь Сабанара.

— Давай, садись, я тебе расскажу. Скажи мне: вот под эту сосну, — он ткнул пальцем, — взяли и положили деньги, многа деньги. Сосне деньги не надо. А в пауле живет бедный вогул, ест тухлую рыбу, а из толченых костей делает болтучину. Вот пошел мимо вогул, взял деньги, купил оленей, стал жить лучше. Хорошо он сделал, ты небак (бумага) писать умеешь, должен знать все. Грешно он сделал?

— По-моему, нет, — ответил я, — чем деньгам лежать бесполезно — они сделают добро.

— Емас (хорошо), теперь дальше слушай, торопиться нам не надо, ойка (старик-медведь) где-нибудь лежит. Я тебе скажу, недалеко стоит юрточка шайтана. Эква-пыырсойка. Когда я следил шубного отца, был там; у шайтана многа деньги. Мы возьмем с тобой половина и купим у зырян сали. Потом возьмем их Кире пригоним, он будет думать, что божьи олени пришли.

Я одобрил намерение Сабанара.

— Ну, так емас!

— Хорошо, — подтвердил я.

— Тогда пойдём, идти туда надо днем, а то на стрелу напорешься или в болото утянет.

Мы взяли другое направление и скоро достигли лесного болота. Сабанар взял шест и пошел впереди, я, опираясь на ружье, сзади. Почва под ногами колыхалась, как на пружинах, иногда нога тонула и несколько раз даже до колена. Тогда Сабанар протягивал мне шест и вытаскивал меня на буксире. Болото было незаметно и, только пройдя по зыб-

кому зеленому ковру, можно было догадаться, что путь продолжать далее опасно. Таежные болота коварны. Мы добрались до странной изгороди, напоминающей мостики рыболовов для ловли язей. Довольно толстые стволы сосен были заложены в два ряда на сучья деревьев, образуя переходы, над ними висели такие же стволы, но потоньше. Сабанар залез на мостик и, перебирая руками верхние перекладины, пошел; я балансируя, направился за ним. Мостик выписывал замысловатые зигзаги, видимо, его строитель искал прочные сучья для опоры и совершенно не считался с расстоянием. Мостик, сделав совершенно ненужную петлю, кончился, хотя впереди имелось много деревьев. Сабанар осторожно спустился на землю.

— Теперь тише, — предупредил он.

И мы снова зашагали по зыбкой почве, поминутно оттаиваясь и возвращаясь обратно. Мне начинало надоедать рискованное путешествие, а впереди еще лежал обратный путь. На мои бесчисленные вопросы Сабанар упорно отвечал: «Молях» (скоро).

— Ехтас (пришли), — торжественно заявил Сабанар.

Почва сделалась постепенно твердой, мы входили в густую кедровую рощу. Многочисленные тамги<sup>1</sup>, стрелы, воткнутые в стволы деревьев, напоминали о священности места.

«Где-нибудь поблизости имеются и настороженные стрелы», — косясь по сторонам, думал я.

Вогулы имеют обыкновение кумирни шайтанов прятать в непроходимые дебри и принимать ряд предосторожностей и, только зная тропинку, и то не без риска, можно пробраться к шайтану. За последние годы участились грабежи шайтанов, кумирни которых иногда хранят большие ценности. Нельзя сказать, чтобы это делали вогулы, народ в высшей степени честный, и общая молва в таких случаях указывает на зырян или русских бродяг.

Лиственничная четырехугольная юрточка, поставленная на четыре столба, была искусно скрыта зеленью и, толь-

---

<sup>1</sup> Тамга — священный знак.

ко подойдя к самой, можно было ее заметить. Вверху виднелась приотворенная маленькая дверь, а выше — на толстых, грубо отесанных косяках дверей висела пара великолепных лосиных рогов.

Сабанар разыскал деревянную лестницу из целого ствола кедра с затесанными ступеньками и начал осторожно подниматься вверх.

— Минэй (иди), — позвал он, высовывая голову из двери.

Как только поравнялся я с дверью, на меня строго взглянули большие глаза шайтана. Безотчетный, суеверный страх холодной стружкой пробежал по всему телу и заставил меня, первое время, не смотреть на истукана.

Грубо отесанный обрубок дерева с большой остроконечной головой, большими оловянными глазами, длинным, приделанным из другого куска дерева носом и прямым непропорциональным ртом — олицетворял собою бога эквапырс-ойка. Закутанный в шкурки зверей, в странном треуголе, напоминающем наполеоновскую треуголку, и повязанный красным шелковым платком, как от зубной боли, шайтан сидел на подставке, а кругом его валялись глиняные, деревянные и каменные чашки с остатками еды, кренделями и золой. По стенам юрочки на деревянных гвоздях висели связки медных пуговиц военного образца, шкурки бобров, соболей, куниц, росомах и других зверей. Все это имело большую ценность, особенно шкурки бобров, бесследно исчезнувших из этого края, и редко теперь счастливому охотнику где-нибудь в непроходимых дебрях Ямнеля удастся добыть пару шкурок умных зверков.

Я Сабанару посоветовал шайтана вытащить из юрты, так как истлевшие шкурки поднимали пыль.

— Нет, не ладно, — решительно заявил он, — скажут, что мы воровали. Погоди, тонгань (стой).

Он проворно залез за пазуху к шайтану и выволок шелковый платок с завязанными углами.

— Ищи, — бросил он мне.

Сабанар вытаскивал платки, кошельки из кожи или просто истлевшие шкурки, в них были завернуты деньги, боль-

шей частью серебряные, медные, редко попадались и золотые. Я развертывал и складывал деньги в чашку.

— Теперь будет, — решил Сабанар. Он собрал опорожненные платки и снова засунул за пазуху шайтана.

Приведя капище в надлежащий порядок, мы двинулись в обратный путь и только поздним вечером достигли мыска попы-я, где нас ожидали Иван и Кирилла с убитым медведем. Медведя убил Кира из дрянной кремневки небольшого калибра, в которую, кроме пули, воткнул стальной шомпол.

Все были довольны, а Сабанар даже старался затянуть песню о божьих оленях, пришедших в загородку бедного вогула. Сабанар пел плохо, он не имел ни голоса, ни слуха.

## V

Сабанар исчез из пауля. Он обещал известить меня, когда он возвратится с купленными у зырян оленями. Я несколько раз заходил к Кирилле и заводил разговор о божьих оленях. Кирилла обыкновенно рассказывал бесчисленные истории, но сам в эти рассказы не верил.

— Видел один вогул, — начинал он рассказ, — в Ямал-маа (тундре) большое стадо, очень большое стадо и у стада амба (собаки), как полагается. Удивился вогул, думает про себя: «Чумом здесь никто не стоит, народу нет, откуда же взялись олени?» Начал он ближе подходить к ним. Все олени и собаки вдруг в оводов обратились, зашумят, поднимутся. Испугался вогул, не знает, что делать... Потом приходил, рассказывал... Да и другие то же видели...

После долгих ожиданий явился Сабанар.

— Ну, — таинственно начал он, — купил. Теперь остается пригнать к чуму Кириллы и стреножить, а то разбегутся.

Я согласился...

Чум Кириллы стоял на берегу Мань-и, на небольшой поляне, среди молодого березняка. Как раз у чума река делала поворот, и это место изобиловало рыбой, которую боль-

шей частью ловила жена Кириллы, а сам Кира шатался по гостям или ставил ловушки на птицу. Он не был лентяем больше, чем остальные вогулы, но постоянная нужда и полуголодное существование родили в нем апатию ко всему на свете. Временами он нанимался в работники к богатому оленеводу Саввке, чтобы поесть оленины и попить крови.

— Сегодня ночью пригону, — заявил Сабанар.

Я с нетерпением ждал утра. Той же ночью ко мне явился Сабанар с вестью, что олени, при помощи зырян-погонщиков, стреножены и лежат в загородке около чума Кыры. Я представлял и гадал об удивлении Кириллы, старался несколько раз завязать по этому поводу беседу с Сабанаром, но тот торжественно заявил мне, что Кира и божьи олени ему порядком надоели и он хочет спать.

Утром я отправился к Кирилле. Он далеко заметил меня, радостно выбежал навстречу.

— Пайся ойка рума. Ен чум (Здравствуй, старый друг. Заходи в чум), — суетился он, стараясь на первое время не выдать своей радости.

Оленей уже не было около чума, они, видимо, были угнаны в другое, более надежное место.

Не успел я зайти в чум, как Кира и его жена наперебой начали рассказывать о великом событии. Их обоих не было дома, они уезжали смотреть шлеги (корчатки) на Мань-ю, а там Кира и его жена заночевали у знакомого рыбака. Вернувшись домой, они увидели стреноженных оленей. Они удивились и никак не могли объяснить их присутствие и только потом Кирилла вспомнил, что недавно во сне он видел больших собак, очень больших собак, похожих на лошадей. Собаки бегали около его чума, убегали в лес и возвращались обратно с маленькими телятами в зубах. Кире было жаль телят, из них могли бы выйти хорошие олени, но отбирать их он не решался. Потом случилось что-то странное: телята, прямо на глазах, стали расти и превращаться в оленей, а собаки, напротив — уменьшаться и в конце концов сделались простыми оленьими амба (собаками).

Я не удивлялся рассказу Кириллы, мне не раз приходилось слушать такие истории и видеть странные вещи. Од-

нажды я собрался к одному знакомому вогулу в гости. Когда я, отмерив добрых верст 50, пришел в его юрту, то встретил уже приготовленное угощение: хозяева заявили мне, что они ждут меня второй день. Я удивился и стал допытываться, по каким признакам могли они судить о моем приходе. Хозяин подумал, подумал и объявил: «Сон видел, так думал, вот-вот ты должен прийти». Бóльших объяснений у него я не мог добиться. Русские жители тех краев скоро заражаются суеверием и нередко прибегают к совету шаманов.

Кирилла теперь мечтал стать оленеводом.

— Теперь у меня будет мясо, — не без гордости заявлял он, — теперь не буду таскаться к Саввке поесть мяса. Свое будет!

Бедные вогулы часто ходят к богатым лишь для того, чтобы поесть мяса и попить теплой оленьей крови. Детски-простодушные маньси (вогулы) считают всякое богатство достоянием общим и крайне удивляются, если с ними не делятся. По их мнению, богатый должен давать и ничего не требовать обратно. Без сомнения, такой взгляд является пережитком старого и в настоящее время такая «благотворительность» среди вогулов наблюдается очень редко.

Во время нашей беседы пришел Сабанар.

— Ну, Кир, пришли к тебе божьи олени, — начал он, — ты винку пить брось, а то опять будешь сидеть чумом на Мань-я.

Кирилла молчал, он прекрасно понимал, что значит «сидеть чумом на Мань-я», то есть обратиться вновь в речного вогула; «стоять же чумом на Мань-я» — это другое дело, — значит, быть оленеводом.

— Глухой он, — обратился ко мне Сабанар. — Вот посмотри, пропьет он божьих оленей.

Я не знал — соглашаться мне с Сабанаром или восставать за Кира.

Долго по тайге ходили рассказы о божьих оленях, пришедших к чуму Кириллы, а сам Кира снял свой чум и ушел на Северный Урал.

Спустя три года мне пришла весточка о Кирилле: «Олени у него не перевелись, — гласила она, — но много их никогда не будет, так как Кира любит хорошо и плотно покушать, а еще более — выпить».

**Михаил Плотников**

**ШУНГУР**

Тайга смеялась...

Уже давно черной птицей в ночной темноте летала невидимая смерть. Шунгур слышал, как хлопали ее большие крылья, слышал ее крик, шелканье зубов и чувствовал, что не один раз она вилась над его бедной юрточкой.

Паул<sup>1</sup> разбежался.

В тайге распространилась заразная болезнь, наступили кошмарные дни, и беззащитные люди, спасаясь от невидимого врага, покинули свои паулы и разбежались в разные концы огромной тайги, разнося с собою заразу и страшную смерть.

Так из паула в паул перебегали в паническом страхе толпы вогулов и умирали без стонов, но с ужасом в глазах.

Покинутый семьей и родными, больной, Шунгур уже несколько долгих дней и ночей лежал и ждал конца. «Все равно умрет старик, — порешили родные, — куда тащить старого, когда тайга хоронит молодых. Пусть лучше умрет в своей юрте». И, оставив ему немного сушеной рыбы и поот<sup>2</sup> воды, двинулись в сердце тайги, — к Большим горам, — искать спасения, а старый Шунгур остался умирать в покинутом пауле. Шунгуру не раз казалось, что среди глубокой ночи, когда только поют свои унылые песни седые сосны да ели, кто-то подходил к дверям юрты, стучал ногами о землю и хрипло шептал:

— Минэй<sup>3</sup>, Шунгур! Минэй, Шунгур!

Тогда Шунгур ложился вниз лицом и с замиранием ждал: вот-вот скрипнет дверь, влетит смерть и поднимет свой ржавый от крови соарб<sup>4</sup> над седой головой старого Шунгура.

Нет, она уходила, а Шунгур, затаив дыхание, лежал в темном углу и прислушивался к ее удаляющимся шагам...

«Умереть бы! Почему она ушла?» — думал он, но острый ужас неизбежного конца охватывал душу старого вогула и на морщинистом лбу выступал холодный пот.

---

<sup>1</sup> Паул — вогульское селение (*Здесь и далее прим. авт.*).

<sup>2</sup> Поот — туяс, бурак.

<sup>3</sup> Минэй — идем, пойдем.

<sup>4</sup> Соарб — топор.

Шунгур не хотел умирать, ему хотелось хотя бы дожить до весны и в последний раз взглянуть на пробудившуюся тайгу.

Он хорошо знал, что нет спасения, нет и слабого луча надежды, и готов был мириться со своей участью.

Ему вспомнилось: давно, еще мальчиком, он заблудился в горах. Напрасно старался он найти выход; напрасно метался в разные стороны, — везде его встречали высокие горы, поросшие хмурыми елями. Он начал кричать, молить о помощи, а эхо повторяло его слова, передразнивало и уносило куда-то далеко, далеко.

Маленький Шунгур не знал чуткого эха, не верил в него и старый Шунгур. Это злой Мейк<sup>1</sup> дразнит человека и смеется над его слезами.

Обессиленный напрасными поисками выхода, мальчик приготовился умирать, и слезы отчаяния полились из его глаз, а кругом, казалось, кто-то говорил и хохотал над его бессилием.

Сжалились боги, не дали умереть маленькому Шунгуру и вывели его из заколдованного круга гор. Хотя его нашел и вывел не бог, а его же отец, но Шунгур не сомневался, что это сделано по воле добрых богов.

Так и сейчас, искал узкого прохода покинутый старик и хотел еще пожить.

— Почему меня покинули? — плакался он. — Зачем бросили умирать одного? Разве я не заработал за все? Забыли старого Шунгура.

Из-под покрасневших век старика катились одна за другою бессильные, горькие слезы.

— Но когда-то давно... Когда молодой Шунгур бил шубного отца<sup>2</sup>, кхонна<sup>3</sup>, много кхонна, белку, лису-черношерстку, соболя и другого зверя, тогда Шунгура надо было. Тогда любили его и как амба глядели ему в глаза,..

---

<sup>1</sup> Мейк — злой бог вогулов.

<sup>2</sup> Шубный отец — ласковое название медведя.

<sup>3</sup> Кхонна — олень.

А разве даром жил теперь старый Шунгур? Разве не ловил он недавно толстобрюхих налимов, усатого осетра и не силил глухаря и зверя?

Так жаловался и плакался Шунгур, пока не засыпал в своем углу.

Никто не слышал его жалоб, и даже волки не выли у дверей его юрточки.

Ни один вздох, ни один стон не вылетал на волю; это была маленькая, очень маленькая тюрьма, без каменных стен и железных решеток...

---

Шунгур видел сон.

Солнце начало всходить. Оно наполнило тайгу розовато-золотистым светом и заиграло радугой на покрытой алмазными каплями росы траве. Золотистая пыль столбами поднялась до самых верхушек сосен и светло-желтыми пятнами легла на траву.

Костер потух и только утренний ветерок заставлял перебегать красивыми змейками по рыхлому налету серого пепла еще непотухшие огоньки.

Молодой Шунгур сидел и караулил кхонна. Затрепал валежник и из-под навеса густых ветвей выглянула фигура громадного оленя. Это был не простой кхонна, которых Шунгур перебил столько, сколько длинных иголок на верхушке молодой сосенки, а кхонна с золотыми рогами.

Шунгур натянул лук и готовился пустить стрелу, но кхонна исчез, и только треск сухого валежника говорил, что олень учуял врага к пустился в бегство.

Когда тайга жила другой жизнью, когда тайга думала, что она — целый мир, а дальше, за тайгой, живут боги, тогда у всех кхонна были золотые рога.

Но вдруг из-за гор явились чужие люди... Заплакала тайга, застонали сосны, а кхонны с золотыми рогами бежали в царство Мейка, последнего бога, который жил на земле.

Мейк живет в ссоре с богами и хумом<sup>1</sup>. Он не забыл, как великий шаман Ропса продал за железный нож все сокровища и даже чудесные глаза самого бога. Днем эти глаза были зелеными, как тайга, а ночью горели красным огнем и были похожи на алую кровь еще трепещущей жертвы. Мейк хотел убить жадного Ропсу, но великий Нум<sup>2</sup> спрятал его под землей.

Тише и тише бежит усталый кхонна. Вот уже он совсем близко... Шунгур натягивает лук и вкладывает стрелу, но... кхонна снова исчез; теперь не трещит и валежник.

Запечалился Шунгур.

Вдруг захрустели ветки, закачались верхушки сосен и в чаще загремел голос страшного Мейка: «Кто смел бежать за моим кхонна! Какая старая баба натянула лук? Довольно с вас! Вы и так продали мои лучшие глаза и вставили куда не годные камни. А теперь осмелились гоняться за моими кхонна. Я не знаю вас, вы, старые бабы с толстобрюхим Нумом!»

---

Шунгур проснулся. Долго не мог прийти в себя и, только увидев знакомые стены юрточки, удостоверился, что это был сон.

Он обрадовался...

Несчастный, забытый всеми старик хотел жить и, возможно, что только жажда жизни поддерживала его угасающий дух.

Его все еще охватывала смутная надежда: вот придет сын, родные, наступит зима, он снова будет ставить самоловы и вытаскивать из-под льда больших, неуклюжих налимов.

В такие минуты старый вогул был счастлив. Он знал, твердо знал, что не может этого быть, но все-таки хотел верить и верил так же, как и сомневался.

---

<sup>1</sup> Хум — человек.

<sup>2</sup> Нум — верховное божество в вогульской мифологии.

Однако чаще и чаще слышались шаги, и шепот смерти становился более грозным и настойчивым. Холодный ветер шумел над тайгой, осенний дождь без конца моросил из грязно-серых туч, которые задернули небо и солнце. Птицы снялись из родных лесов и болот, стаями потянули к югу, посылая последнее благословение родным гнездам.

Шунгур умирал... Он примирился, не жаловался и притих.

Шунгур не боялся смерти, он хотел бы только смело встретить ее лицом к лицу, как страшного зверя, и побороться с ней.

Смерть для него была зверем, и иначе он не мог представить ее себе.

Шунгуру казалось, что смерть — большая птица с громадными голыми крыльями, как у исполинской летучей мыши, с медвежьей мордой и длинными черными когтями...

— Вот она... вот, летит, — шептал он.

Двери юрты с шумом распахнулись и в закопченных косяках дверей, как в раме, вырисовалась группа сосен, освещенных грустным, осенним солнцем.

— Это ветер, не *она*, — успокоился Шунгур.

А это что зеленеет? Это сосны... тайга...

Что-то проснулось и забилося, как попавшая в силки птица, внутри старого таежника.

— Пойду, пойду, — прошептал он, не отрываясь от зеленого кусочка тайги.

Выбрался из юрты и уполз в тайгу, которая кормила и наказывала его.

Шунгур родился и умер под шепот тайги, под стволами лохматых елей. Кругом его боязливо бродили волки, они не тронули Шунгура до тех пор, пока последний вздох не вылетел из слабой груди старика.

Когда в тайгу спустилась белокрылая тэли<sup>1</sup> и запел холодный сиверко<sup>2</sup>, возвратился пым<sup>3</sup> и родные Шунгура, но они не нашли его в юрте.

Он ушел туда, откуда никто не приходит.

Видно, замерз где-нибудь, а может, и волки слопали — спокойно порешили родные. Только маленькая ючо<sup>4</sup> Зипь продолжала верить, что дед не умер, а живет где-то далеко-далеко и ловит налимов.

---

<sup>1</sup> Тэли — зима.

<sup>2</sup> Сиверко — северный ветер.

<sup>3</sup> Пым — сын.

<sup>4</sup> Ючо — внучка.

**Василий Анучин**

**«ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ»**

(Из рассказов старого сибиряка)

Беззвучная, полная лунного света ночь царила над тихо уснувшим в горах Енисеем. Черные скалы, упершись вершинами в синее небо, повисли над темною рекою и смотрят, как звезд хоромы играют и блещут в таинственной бездне, как светлые полосы лунного света бегут по водам, извиваясь, как сонная рыба всплеснется. Все спит. Черные тени легли в заповедные дебри и притаились. Крепко уснула тайга, только осина шепчет что-то сквозь сон, да ворчливый ручей где то бурлюкает по камешкам.

То была ночь, в которую любит лесной побродить по вселенной и пошутить над людьми — искони уже такой он лукавый. Выберет яркую, лунную ночь и пойдет куролесить. Бродит в дремучей тайге, прыгает через колоды, пляшет по скалам или заберется в болото и возится там, только брызги летят, а сам хохочет; а то на ветку усядется и ждет: не закричит ли, заплутавшись, охотник, — любит он поводить их по дебрям. То откликается издали, то тоже, как будто охотник, по лесу навстречу пойдет и берется дорогу казать. Сдурю поверишь, ан глядь! — в топь заведет, да и ушмыгнет, а потом из трущобы и хохочет да бьет в ладоши.

Старики, что виды повидали, много знают рассказов и разных бывальщин про леших, только молодежь ныне уже стала не та: над стариками смеются, — а вот послушайте, — что в эту ночь случилось со старым Пахомом.

С промысла\* плыл он с двумя сыновьями. Плыли и днем, и ночами— сбыть торопились товар, только приутомились и ночевать порешили.

— Эй, воротика, ребята, — молвил старик, — вот к той поляне... вон туда, где кедр-то большой, — пригожее место!

Весла дружно и плотно зашлепали, а вокруг искры так и забегали, круги огневые так и запрыгали.

Грузно ударилась лодка о берег.

— Ну-т-ко с Божьею помощью!.. — прыгнул из лодки Пахом и... по колена увяз.

— Экая штука-то выпала! так ведь и знал; никогда из тайги без шутки не выпустит! Николи здесь болотины не

---

\* С охоты (Здесь и далее прим. автора).

было, а тут сразу и прилучилась... Ванюха, дай-ка посудину!

— Котору?

— Тьфу ты, ухо свиное! что те, догадку-то коршун что ль выклевал? С водкой, вестимо!

— А ты, старый филин, не лайся, а то вот дам по макушке, так вовсе в болото улезешь.

Добыл Ванюха бутылку, слюнку сглотнул, подумал и в собственный рот опрокинул, только забулькало.

— Ванька!! двести хорьков в нос твоей матери, что ты делаешь?! — неистово рявкнул Пахом и к лодке тянулся, но ноги крепко увязли.

— Ванька!!.. Петро, что ты смотришь, мерзлый налим! отымай!

Длинный Петро лениво поднялся, в затылке царапнул и прицелился Ваньку за чуб изловить, — но тот не дурак: прыгнул на берег, на камень, уселся и тянет опять из бутылки.

— Бей его! дуй его душу свиную! — вопил Пахом и на берег рвался, а Петро уже возился с Иваном.

— Чур меня! ну, пошалил, да и будет! — лесного Пахом упрощал.

Встал на карачки; шлеп!.. шлеп!.. вылез, — весь в тине, ни рыла, ни уха не видно — и злобно вцепился в Ивана.

А Петро бутылку ко рту тем часом приставил и долго что-то на небо смотрел. Кончил. Смотрит: батько с Иваном дерутся. Батько ловко вцепился Ивану за уши и в брюхо коленом уперся, а тот мелкую дробь на боках у отца выбивает.

— Спятели оба, должно быть! — решил Петро я пошел разнимать. Вдруг... бац!.. кто-то целой осиною огрел его по лбу. Крякнул Петро, искры в глазах замелькали. Смотрит: осина стоит, как осина, а он ее лбом подпирает, словно козел у забора.

— Видно, батько толкнул! ах ты, старая выдра! только сзади толкаться умеешь! так вот тебе... вот тебе!...

Все в кучу смешались. Пахом бьет Ивана, Ванька Пахома, а длинный Петро по макушкам обоих.

Месяц смотрит на них и смеется, и звезды от смеха мигают, а за рекою в горах кто-то громко хохочет.

— Стой!! слышь! будет, чертов внук! чур нас! — опомнился старый Пахом. — Экая ночь-то сегодня лукавая!

— А что ты толкаешься сзади?

— Будет! будет! Вишь, леший игрушку из нас себе сделал, чур нас! Слышите, как за рекой-то хохочет? чур нас!..

— Ну-т-ко, ребяташки! нужно разбить становище. Ну-те, дружнее: вы по дрова, а я буду груз выкладывать, да огонь разведу.

— Батько, я трушу! — Ванька промолвил и робко в тайгу оглянулся.

— Хе! курицын сын! — усмехнулся Пахом. — Видимо, нечего делать, — придется другую бутылку достать... только чур, поровну!

— Поровну! поровну! — живо Петро и Иван подхватили.

— Ну вот, держите по чашке, а мне уж, что будет в остатке.

— Врешь, батько! стой! или еще тумачков захотелось? Сказано, поровну, — что ж ты лукавишь?! — длинный Петро и Иван ухватились за батьку.

— Стой, чертов внук! Меня, видно, леший туманит, — чур нас!..

— Вишь, затуманило!..

Выпили. Нехотя в лес потащились Иван и Петро, а Пахом — разгружать свою лодку.

— Ну-т-ко, начнем!.. А это еще что за штука?!

Смотрит: рыба не рыба, бревно не бревно — длинное, черное что-то в воде завалилось в осоку.

— Гм... что-то неспроста! Опять, видно, шутка... Может быть, леший тут спать завалился — в тине-то мягко ему, лежебоку!.. чур нас!..

Не шевельнется.

— Слушай! уйди поздорову, а то вот как двину веслом по спине-то!..

Не дрогнет.

— Вишь, дрыхает, язви его, — видно, всю ночь куролесил! Стой же!..

Шестик доставши, прицелился старый... раз!..

Плюх!.. словно из целой бадьи окатило водою Пахома.

— Тьфу! тьфу! клин те осиновый в заднюю часть!.. стой — захлебнись!.. — откуда и ноги взялись, как бросился старый бежать.

Смотрит: а кто-то уж так-то ли ловко несется навстречу, только хрустит под ногами.

— Эге! нет, брат, шалишь, — не проведешь! Я те устрою гостинец.

Шмыгнул за кустик Пахом, нащупал дубинку покрепче, прицелился так, чтоб двинуть с размаху, и ждет.

Ближе, ближе; прямо на кустик несется... слышно, пыхтит... бац!!

— Вот тебе, мерзкая рожа!.. запомни Пахома!!

— Ой! светы мои! чур меня! Батько! Петро! — завопил повалившийся на землю леший.

— Что за оказия? голос-то словно бы Ванькин! или опять меня леший морочит! Слышь, Ванька, ты это, что ли?..

— Чур меня! чур меня! сгинь! провались!..

— Вишь ты, паршивый свиненок! что ты тут бегаешь?

— Батько! Никак, это ты?!..

— Я.

— Ой, батько родимый! как меня леший сейчас саданул по затылку — думал, что жив не останусь!

— Гм... а где же Петро?

— Ой, батько, не знаю, — мы с ним разошлись; я все валежник искал, да не мог ничего отыскать...

— Вишь ты — не стало по лесу валежни!

— Право, не видел, должно быть мне леший глаза отводил. Я все иду дальше, да дальше, только смотрю: в дебрях такую забрел, что ни шагу вперед! Лес — что стена, пни да колоды вокруг, а трава через голову смотрит. Вернулся назад — выхода как не бывало! Лес, да трава, да колоды; струсил, пустился бежать, а сам все про лешего думаю имею... Глядь! а он уже тут: длинный такой, повесился вниз головой на сучке у сосны и так-то ли дюже ругается, — видимо, спать я ему помешал.

— А все-таки, где же Петро-то? :

— Не знаю! Должно быть, далеко завел его леший.  
— Надо покликать... Петро!! Петро!!  
— Петро!! Петро!! — откликнулся кто-то из лесу.  
— Петро... Петро... — слышалось за Енисеем.  
— О—о!.. О—о!.. — раздалось в далеких горах.  
— Тьфу! вишь, ухаёт сила нечистая! Ванька, бери дробовик, да пойдем, окрестившись, поищем.

Пошли. А в тайге тишина, как в могиле: ни листок, ни трава не шелохнется. Темець сырая лежит под навесом столетних деревьев, а трава будто нарочно в плетень заплетается, словно как сеть по земле расстилается, словно змея между пней извивается, — вязнет и тонет нога.

— Батько! смотри-ка, смотри-ка — вон леший-то!

— Где?

— Да вон, на сосне-то повис... вон, влево.

— Вижу, вижу! ага! погоди ж, богомерзкая тварь!

— Слышь, батько... Храпит!

— Спит, окаянный, с устатку! Уже погоди, разбуджу, как всажу ему горсточку дрови в заднюю часть.

— Батько! а может быть, то человек?!

— Что ты, малый, опомнись! Разве способно уснуть человеку, повесившись вниз головою с сука, так только дрыхает леший да евонная дочка, летучая мышь.

Грянул и раскатился в тайге оглушительный выстрел.

Словно медведь, заревел пробудившийся леший, забрыкался, треснуло что-то, хрустнуло, — словно бы сук обломился, и леший исчез.

Ванька со страху присел за колоду, а старый Пахом хохотал.

— Ага! Мерзкая рожа! запомни Пахома!

— Слышь, батько... стонет... ой! батько родимый, — да это Петро... слышь, кличет тебя...

— Стой, Ванька, чурайся! леший глаза нам отводит! чур нас!

— Нет, батько, все стонет — пойдем поскорее.

— Стой, Ванька, стой! Он, може, не слышит, надо погромче... Чур нас, Пахома с Иваном!!

Пошли, смотрят: а длинный Петро лежит на траве, ухватившись руками за заднюю часть, в крючок весь загнулся и стонет.

— Петро! али ты?

— Ой-ой... Ой-ой... батько!

— Ах, сила нечистая, тварь препоганая, чтобы твоему отцу подавиться гнилым огурцом! — ругался Пахом, — да тебя-то на дерево как занесло?

— Ой, так и жжет... я веток смолевых хотел наломать, да оборвался и за штанину повис на суку...

— Все лешего шутка! Поганое место, должно быть, у них тут был шабаш сегодня!.. Ну, поднимайся, Петро, да скорее в дорогу!

Петро приподнялся.

— Ой! не могу!

— Пособляй ему, Ванька!

— Ой, больно! идти не могу!

— Ну, стой, садись на меня! — и Ванька, взваливши на спину стонущего брата, направился к лодке, а сзади, — ругаясь, Пахом.

А мыши летучие вокруг так и шныряют, так и кружатся, свищут поганым крылом вокруг голов православных.

— У... вы, нечистая сила, — бормочет Пахом.

— Батько, кого это ты?

— Да вот лешенят этих, вишь, разлетались!

— Это ведь мыши летучие, батько!

— Мал ты и зелен еще! не все ли одно: что в лоб, то и по лбу.

— Ну, вот и лодка; ну те, садитесь, ребята, скорее.

Улегся Петро посредине, Ванька на веслах, поплыли.

Спит Енисей, не шелохнет; огненный столб от луны по реке протянулся и звезды играют в пучине.купаются весла, а искры от них так и брызжут, так и играют кружки огневые, а сзади словно две ленты серебряных тянутся с лодки.

— Экая ночь-то сегодня лукавая! — молвил Пахом.

Только что кончил, вдруг за рекой как загремит меж утесов, как зашумит, зашумит, — словно кто тысячу камней

спустил по откосу, — как булькнет вдруг что-то в реке..

Струсил Пахом:

— Ванька! наляжь посильнее! Леший, должно быть, с утеса сорвался, — опять захлестнет!

Смотрят: а сзади утес вдруг дрогнул, качнулся и вслед им грозит, качаясь, как палец гигантский.

*Чертовым пальцем* утес тот с поры той зовется, — зовут его так и поныне\*.

\* \* \*

Так вот как бывало в старинное давнее время, а ныне уж стало не то: смеется народ, а пусть-ка попробует в лунную ночь побродить по тайге — много увидят!

---

\* «*Чертов палец*» — тонкий обелископодобный утес на берегу р. Енисея, близ г. Красноярска.

**Василий Анучин**

**ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО**

Далеко от плоской земли мшистых тундр, на полдне есть страна.

Там мощно вздымаются к синему небу горные кряжи и миллионы алмазов блистают в их белоснежных коронах, а между ними глубокие доли, где в теснинах мечутся бурные воды — и зияют и холодом веют немые ущелья — обитель злых духов.

Из края в край взнялись горы и нет им конца, как тем волнам, что в бурный день пойдут гулять по лону океана.

Нет конца ни горам, ни волнам и только тундра поглощает их.

Чередой бесконечной катятся волны седые по океану, приходят к тундре, хотят идти дальше — и не могут, и умирают, взбегая на нее.

Одна за другою встают величавые синие горы — и тучи не могут закрыть от них неба, но вот пришли они к тундре и не венчают короны их черных вершин, и тучи высоко повисли над ними. Все меньше и меньше перевалы и только маленькие холмики забегают в тундру и теряются в ней.

Издревле так было и будет до века, ибо в центре вселенной стоит великая тундра и кругом ее горы и волны.

А там, в горной стране, есть край черных утесов.

То, как семья великанов, собравшихся в тихой беседе к костру, сойдутся они и станут в тесный кружок; то, как кочующий род, длинным караваном протянутся вдоль долины и только один забрел в мрачные дебри хмурой тайги и угрюмо стоит одинокий.

И вечною стражей столпились в подножье его мохом поросшие ели, залегли между ними колоды, сгрудились камни, лозы хмелевые тесно сплелись и нет дороги к утесу.

Под сводом задумчивых елей, печалью объятых, таятся угрюмые, смутные тени; беззвучен сумрак холодный; янтарные капли смолы повисли на ржавой коре, да иссохшая хвоя беззвучно спадают и тонут во мху.

Но в полночь, когда под чарами добрых духов сна затихает все живущее, вокруг утеса, глухо замирая по дебрям, несутся смутные клики и, вторя им, эхо гудит по пещерам и стонет — то бодрствует стража заветной могилы.

Много веков миновало с тех пор, как неньцы получили повеление Великого духа.

И сказал Великий дух устами шаманов:

— Пусть оставят неньцы страну свою, пусть идут на полночь и они избавятся от великой печали.

Исполнили волю Великого духа неньцы.

Шло время и трижды в белые ризы печали земля одевалась: трижды радостный шум ароматной листвы по лесам разносился, — с листвою четвертой вступили неньцы в страну голубых гор и черных ущелий.

И видят, — вот живут люди сиирты, которые не видали человеческой крови.

Бродят люди по горам и вместо оленей пасут стада мамонтов.

И проснулась зависть в сердцах пришельцев и сказали люди неньцы людям сииртам:

— Нас послал Великий дух.

— Пусть будет славно во веки имя его, говорите.

— Великий дух сказал, что вы не умеете ездить на мамонтах, и послал нас, чтобы мы были вместо вас.

— Разве Великий дух не видит, как мы ездим?

— Но неньцы поедут лучше вас.

— Куда же денутся сиирты?

— Пусть они идут на полночь, там есть мамонты еще больше, каждый с гору величиной, и вы будете ездить все на одном.

— Но в той стране нет гор.

— Теперь вы будете жить на равнинах.

— Нет, — сказали сиирты, — эти горы, волей Великого духа, были родиной наших отцов, вот их могилы — мы тоже умрем здесь, а у вас, видно, есть свой недобрый Великий дух. Вы, должно быть, приносите ваши жертвы начальнику нечистых? Оттого и покинули родину ваших отцов.

И мордам голодных медведей стали подобны лица неньцев, затрепетали ноздри, как одежды бегущего против вет-

ра; облились кровью глаза, а уста изрыгнули ругательства.

Ужаснулись сиирты и бежали, взывая к милости Великого духа, но не внял он.

Загудели упругие тетивы, прозвенели певучие стрелы и земля голубых гор в первый раз обагрилась человеческой кровью.

И вопль великий огласил страну и пали сиирты на оскверненную землю и оросили ее слезами и целовали ее.

Удивились неньцы, видя невиданное. А сиирты поспешно собрали жилища, жен и детей, сели на мамонтов и скрылись в дебрях.

Два дня и две ночи бежали неньцы по следам, но догнать не могли.

Горы все круче и круче; лес все темней и темней. Цепкие ветви хватались за одежды и сбрасывали всадников, а маленькие олени неньцев задыхались и падали мертвыми.

Минул день третий, близилась ночь — и прибежали люди в страну, где по вершинам гор стоят великие утесы. Мрачно нахмурились каменные великаны, а над ними нависло черное небо, и не горят по нему зори, — гроза собирается, ибо всегда бывает гроза, когда совершится недоброе дело.

И видят неньцы: направили путь свой сиирты к утесу, что стоит одиноко среди дебрей и пошли неньцы к тому утесу.

\* \* \*

Тонули во мраке и дебри, и скалы, и небо. Тихо, только рокот глухой и далекий гудит по горам, словно из тьмы встает, надвигается какое-то страшное чудище, и все живущее, трепещет, притаилось.

Чудище грозно рычит; рычанием полнится тьма и нет места, куда бы укрыться, чтоб не слышать его, — оно проходит бездны и сотрясает землю...

И вот огненной хлябью беззвучно разверзлось черное небо и воспрянуло чудище, и грохот рычаний его, потрясая горы, раскатился от края земли и до края...

Огневые змеи вьются во мраке; неумолчно грохочет рев незримого чудища, а злые духи, думая, что это рушатся горы, ринулись из бездн и ущелий, завывли, застонали и бешено закружились над тайгой. С корнем рвут они столетние сосны, чтобы убить невидимого врага, но не находят его и визжат от страха и ярости и скрежещут зубами и свистят во тьме их крылья.

Огневые змеи раздирают тьму, мигают голубые зарницы и видно было: черная бездна зияет в подножье утеса, в бездну падают тени — то были сиирты.

\* \* \*

Много веков миновало с тех пор, как и неньцы покинули страну голубых гор и ушли в тундру, а сиирты и поныне живут в подземельях.

И нет светозарного солнца в их царстве печальном и звуки жизни не нарушают его немой тишины, только капли вод порою падают со сводов и звенят, разбиваясь о камни. А сиирты тоскливо бродят по мертвым немым равнинам подземелья, то соберутся вокруг огня, синего, холодного огня гнилушек, и молчат.

Угрюмая печать времен легла на их чело. В очах застыл, зияя, унылый мрак пещеры; точно мох седой на ветвях старой ели, хмуро нависли над очами брови.

Неведома сииртам смерть, но время властно и над ними: позеленели, заплесневели их тела и уже стали разрушаться, но неугасимо тлеет в каждом сердце искра и терпеливо ждут они поры желанной — возвращенья в страну отцов.

И ждут они поры, когда живущие слезами радости омоют кровь с земли.

Давно сиирты ждут, но никто из живущих не знает, когда они дождутся.

**Василий Анучин**

**ВЕЧНЫЙ СКИТАЛЕЦ**

Сибирская легенда

Чудная, полная грез и ароматов майская ночь тихо опустилась на землю, и мир почил.

Спит темный Енисей на дне долины, спят великаны-горы, что громоздятся кругом и уходят в звездное небо скалистыми вершинами; спит и черный лес по горам.

Ни звука, — только редко-редко в густой листве прибрежных ивняков, словно лепет спящего дитяти, пробегает робкий шорох, да невидимая волна тихо всплеснет на каменистый берег и смолкнет.

У подножия черного великана-утеса, словно спрятавшись в его тени, притаилась белая барка; притаилась и тихо дремлет, распластав над водою свои длинные весла.

Крохотный огонек робко мигает на корме, а боязливые тени то окружают его сплошным черным кольцом, то вдруг вздрогнут и трусливо отскочат и спрячутся за груды белых мешков; сухие дрова весело потрескивают; рокошет в чайнике закипающая вода; блестящие искорки, шипя, взлетают на воздух и тают во мраке ночи.

Крепко спят усталые сплавщики, и старый Фома, справляющий сегодня череду, тоже невольно клонит на грудь свою седую голову и в полусне что-то шамкает губами.

— У-у! — тихим стоном прозвучало с вершины утеса; но чуткое ночное эхо подхватило этот звук и тоже тихо простонало.

Старый Фома встрепенулся, пристально посмотрел на спящих товарищей и тихо проговорил:

— Ступай, спи себе, бедный Джиркин, мирно спи!

Сказал и сунул в костер несколько полен. Огонек исчез совсем, и только дым густыми клубами заколыхался над баркой.

— У-у! — снова, но несколько громче раздалось с утеса и снова простонало чуткое эхо.

— Деданька! — прошептал кто-то из груды мешков. — Деданька! Это кто там ухает?

— Дремай, дремай, Ивась! это так... — отвечал Фома.

— Так!.. А он же стонет, деданька!.. Может, ему больно?

Ивась вылез из-за мешков и подсел к костру рядом со стариком.

— Чего ж ему стало больно! Это так! — нехотя отвечал Фома и закурил трубку.

— А он кто?

— О-тто! — кто ж его знает?

Вспыхнули дрова и весело загудевший костер ярко осветил собеседников.

Густо обросший волосами, с бородою по пояс, белый как лунь Фома и маленький, черный как жук Ивась фантастично живо обрисовались на темном фоне утеса.

— Эге, — встревожился Фома, — как бы нам, Ивась, барку не спалить! Глянь, поди, не завалилась ли где искра.

— Ни, деда, не завалится! Вишь, они за корму сыплются.

— Ну-ну, сиди уж, лентяюшко!.. — добродушно проговорил старик.

— Слышь? слышь, деда, опять ухаает! — взволнованно прошептал Ивась.

Но Фома сосредоточенно уставился на костер, делая вид, что ничего не слышит.

— Деда! а може, то леший?

— Сш-ш! — гневно зашипел Фома и торопливо плюнул через левую руку. Мальчик робко посмотрел на старика и примолк.

— Разве так можно? Сколько раз говорил тебе! — укоризненно шептал старик.

— Я забыл, деданька!

— Как можно забывать! Какой же ты таежный человек после этого будешь?!

Фома сурово нахмурил лохматые брови и усиленно потянул из трубки, — та ярко вспыхнула и гневно захрипела.

— Деда!

— Чего еще там? — сердито отозвался Фома.

— Деда! миленький, расскажи! — говорил мальчик, ласкаясь к старику.

Брови старого Фомы дрогнули и поползли куда-то вверх.

— Смотри, Ивась, смотри! рыбина-то какая большая всплеснулась! — говорил старик, стараясь не поддаваться ласке.

— Расскажи, деда!

— Ну-ну, пострел! Что же рассказать-то тебе?

— Все, деда: кто на утесе стонет и кого ты спать послал.

— Вишь, пострел какой, — все слышит! Добойный парень будет!

И старый Фома любовно потрепал Ивасеву голову.

— Ну! — торопил мальчуган.

— Так вот! — тихим шепотом начал Фома, словно боясь, что чуткая ночь подслушает его рассказ. — Давно, вишь, дело-то было, очень давно, — и жил тогда на свете человек именем Баджей. Жил он в горах, между двух рек; одна по широкой долине струилась, а другая глухой трущобой дорогу себе проложила. Богат был дом старого Баджея, много у него всякого добра: серебра и золота, и мехов, и камней самоцветных, много слуг добрых, а скотины и счету нет!

Только завидно стало Баджею, что у бедного соседа Джиркина олени очень уж хорошие рождаются, рога — как старый кедр густые, ноги словно из стали кованы, а бежать пойдут — и-и! ветер отстает.

Пришел однажды Баджей к соседу и говорит:

— Будь здоров, брат Джиркин, дому твоему мир!

— Садись, Баджей, — гость будешь! Чем ласкать прикажешь?

— Прими привет, — ничего не хочу; говорить пришел!

— Скажи, брат мой!

— Продай оленей!

И темная тучка легла на лбу Джиркина, и он сказал:

— Прощай, Баджей!

— Не обессудь, Джиркин! — сказал Баджей и ушел.

Было лето, была осень и зима белым саваном горы покрыла, когда надел Баджей лыжи и снова пришел ко двору соседа.

— Тепло в избу, добрый сосед! — сказал он.

— Спасибо! Заходи.

— Зайду, коль об оленях говорить будем.

— Нет, Баджей! Дай умереть, тогда приходи.

И разгневался старый Баджей и сказал:

— Покаешься еще, несчастный нищий, да поздно будет!

Так от матери-зависти родилась дочь-вражда и стала вражда расти. И возненавидел Баджей Джиркина, и стали люди враги.

Была ночь, темная, осенняя ночь. По горам гудит злой северный ветер и гонит черные мокрые тучи; а они не хотят лететь, цепляются за высокие утесы и плачут дробными слезами; шумит и стонет темная тайга, скрипят старые сосны, и не слышно было, как две тени подкрались из лесу к хижине Джиркина.

Была страшная буря той ночью. Великий гром бегал по горам и метал огненные стрелы на землю, и не знали люди, за что наказан Джиркин, когда увидели его хижину, объятую пламенем.

Плакали черные тучи той ночью, плакали старые березы — заплакал тогда и Джиркин.

И снова пришел Баджей к соседу и сказал:

— Вот ты теперь беден, Джиркин, — продай мне твоих оленей и ты будешь богат!

— Владей своим богатством, а я буду пасти моих оленей! — ответил Джиркин и ушел.

Долго бродил он. Старые сосны укрывали его в непогоду, холодные скалы защищали от злых ветров, но никто не мог укрыть и защитить его маленького сына, и одна только темная ночь знала, почему Джиркин стал бездетным, да хищные вороны три дня и три ночи каркали в трущобе, веселясь за сытным обедом.

И проклял то место Джиркин и, проливая слезы, пошел еще дальше. Пошел он туда, где горы громоздятся к небу вечно-снежными вершинами, где рождаются тучи и реки; пошел Джиркин и забыл, что олени оставляют след; а старая старуха-горе, бродя по свету, увидела те следы, пошла по ним и настигла Джиркина, и не стало у него оленей.

И был теперь Джиркин нищий и сирота; но слезы не потекли из его глаз. Лютая злоба разожгла его сердце и оно поглотило слезы; только глубокие морщины еще резче залегли на его высоком лбу, да в глазах заиграли зарницы от той грозы, что бушевала в его сердце.

И не приходил теперь Баджей к своему соседу.

Шли годы. Вершины снежных гор все так же курились тучами; все те же речки шумели по долинам; те же скалы стояли по краям темных ущелий; но там, где были молодые рощи, теперь стояли тенистые леса, там, где дымился очаг Джиркина, теперь шумели молодые березки, и там, где лежал когда-то отец богатого Баджея, теперь возлег он сам, и смерть стояла у порога.

И сказал Баджей:

— Хочу умереть и не могу! Пусть придет Джиркин и скажет доброе слово, — тогда умру!

И пришел Джиркин.

— Прости меня, — шепчет Баджей, — прости, брат мой!

Молчит Джиркин.

— Разве огонь любви потух в сердце твоём?

— Давно!

— И ты не можешь прощать?

— Я проклял мать свою и отца.

— Но посмотри, — может быть, в сердце твоём ещё осталось хоть немного жалости, и тогда прости меня, дай мне увидеть жилище отцов.

— Что тебе в моем прощении!

И задрожал всем телом Баджей и тихо прошептал:

— Прости меня, брат мой, — это я сжег твою хижину!

— Ты?!

— Да! — хрипел Баджей, — и это я же... это я забил сына твоего!

— Это ты убил его?—закричал Джиркин, и в глазах его блеснули огни ярости, а правая рука потянулась к кинжалу.

— Нет! не убивай меня! — стонал Баджей. — Видишь: смерть стоит у моего изголовья! Прости сына родины твоей, брат мой! Душа моя полна смолы кипящей... Добрые духи давно оставили меня, а злые внушили мне зависть и толкнули меня на путь преступлений! Ты видишь, душа моя вся покрылась язвами и сочит зловонным гноем, — не погружай в нее своего светлого кинжала, и пусть он останется чистым!

И стоял Джиркин перед ложем страшной смерти, на котором, как таежная осина, трепетало греховное тело Баджея, — и долго длилось молчание.

— Ты еще не убил меня? — сказал Баджей. — Значит, в сердце твоём еще живет жалость!... Прости же меня еще раз: это я... да! это я украл твоих оленей!

И страшные черные тени, как тучи, покрыли лицо Джиркина, засверкали в глазах его молнии ярости и простер он руки над смертным одром Баджея и сказал:

— От века и до века не будет тебе моего прощенья, трижды проклятый за то, что ты трижды убил брата своего! Будешь ты умирать и не умрешь! И пусть черные вороны вечно прилетают к тебе и терзают твоё гнойное тело, и не будет у тебя близких, чтобы пролить масло на язвы твои! Люди будут убегать от смрада тела твоего, и станешь ты стонать, и не услышат тебя! Пусть будет все это!

И вдруг нависли над домом Баджея грозные тучи; грянул и раскатился эхом в горах страшный гром; брызнули на землю тысячи молний... и стихло. Замолк в ущелье ветер; не шумели могучие леса; притаила дыхание вся природа, — и вот среди темных туч воссиял яркий свет, и тучи оделись в багряницу, и снежные вершины гор стали кровавыми, и зазвучал из туч громкий голос и сказал он:

— Пусть будет по слову сказавшего проклятье; но и тебе, Джиркин, от века и до века не будет моего прощенья за то, что ты проклял просившего милости твоей! И захочешь ты умереть и не умрешь, но будешь вечно скитаться по горам и лесам, не зная сна и отдыха! И будут черные думы прилетать к тебе и неустанно терзать твоё жестокое сердце, и не будет у тебя близких, чтобы утешить тебя. Убегут люди от страха, увидев лицо твоё, и будешь ты стонать, и не пожалеют тебя! Да будет все это!

И снова ударил страшный гром и весь мир озарился светом молний.

Давно это было, так давно, что люди забыли то место, где лежит, вечно умирая, старый Баджей. Говорят только, что где-то далеко на полдне есть высокая гора, и на той горе стоит ложе Баджея. Люди и звери и птицы оставили стра-

ну ту; от смрада высохли деревья и трава, — и на много-много верст кругом той горы раскинулась безжизненная пустыня. Только черные вороны прилетают туда и долбят гнойное тело Баджея, и правят старому вечную тризну, да буйный ветер, носясь над миром, бывает там и, возвращаясь, приносит страшные болезни, от которых умирает множество людей.

А бедный Джиркин доньне бродит по дебрям Сибири. Весь в черном, с бледно-зеленым лицом, он неустанно идет по тайге; всходит на горы, опускается в темные долины, взбирается на высокие утесы; а черные думы рвут его сердце, и он стонет от боли. И нет у него крова, нет утешения, нет ему смерти!

Только узнали люди, что если услышишь в тайге его стон, то нужно сказать:

«Ступай, спи себе, бедный Джиркин, мирно спи!» — и тогда он на всю будущую ночь уходит в глубокую пещеру и сидит там не двигаясь и хорошо ему.

Когда же над миром собирается буря; когда в страхе замрут звери и птицы и перестает шуметь великая тайга; когда перед первым ударом грома притаит дыхание все живущее и настает великое затишье, — тогда с высоких гор раздаются тяжелые вздохи, и слышат их люди и знают, что это Джиркин, чуя бурю, вспоминает страшный день проклятья, и черные думы терзают и рвут его сердце и больно ему!

Кончил старый Фома и замолк, погрузившись в раздумье. Молчал и Ивась, следя задумчивым взглядом за золотистыми змейками, что без конца рождались от робкого блеска звезд на темных водах Енисея: родится, блеснет, извиваясь, и тонет в бездне...

— Деда! — тихо проговорил мальчик.

— Что тебе?

— А ты его видел?

— Ни, родимый, не видел! да и не можно видеть его: прячется он от людей, чтоб не испугать их лицом своим...

— А как же ты знаешь, что он в черном ходит и что лицо у него страшное?

— Гм! а это так старики говорят... Помнишь вот Игната-сплавщика, который еще утонул-то прошлым летом?

— Помню!

— Так вот, плыл он однажды Енисеем. Ночь лунная такая, светлая была. Плынут они с товарищем, не гребя, вниз по течению и замолкли что-то... только глядь, а на вершине утеса стоит кто-то и смотрит на реку.

Видно его, хорошо видно: стоит и руки сложил на груди. Увидел людей и скрылся, а потом простонал из тайги: ночи спокойной просит!...

— Деда! — быстро прервал мальчик тихую речь старика.

— Что ты?— встревожился Фома.

— Ты говоришь, что ему хорошо в этой пещере самой?

— Ну?

— И что если ему сказать доброе слово, то ему можно идти в пещеру?

— Да!

— Так я скажу ему, чтобы он сидел там не только завтра, а всегда, как захочет!

— Не знаю, как это!... Одну-то ночь это известно, что можно, а чтобы всегда...

— Так давай, деданька, скажем вместе — я и ты: может, тогда можно будет!

— Не знаю, право! — колебался Фома.

— Скажем, деданька хороший!

— Ну-ну! — согласился тот.

Быстро вскочил Ивась, кряхтя, поднялся старый Фома, — подошли к краю барки и, обратившись в сторону черного утеса, враз проговорили:

— Ступай, спи себе, бедный Джиркин, мирно спи... когда только захочешь!

И громко, как в пустом храме, прозвучало над спящим Енисеем доброе слово; проснулось где-то далеко во тьме безлунной ночи чуткое эхо, подхватило то слово и, радостно повторяя его, побежало в горы, словно спеша передать Джиркину.

**Ал. Горбунов**

**ТАЙНЫ ЛЕСА**

(Из уральских легенд)

Тихий, теплый летний вечер. Солнце медленно садится за узористый гребень старого дремучего леса, далеко-далеко и вдоль и поперек, словно безграничное зеленое море, раскинувшее свои обширные владения.

Последние красноватые лучи заходящего солнца причудливо золотят вершины гигантских деревьев, поднимаясь все выше и выше. Из потемневшей, словно укутанной сероватой дымкой чащи повеяло сыростью, сильнее запахло лесными травами и цветами.

Тихо в лесу. Мирно стоят лесные великаны, погруженные в сладкую дремоту. Ничто не нарушает этой таинственной, жуткой тишины. Только вещунья-кукушка где-то вдали уныло кукует, да непоседа-белка прыгает с одного дерева на другое, изредка нашумит вверх и опять все стихнет...

Крепко занедужилось сегодня старому Назарычу, да и немудрено: изнурила, иссушила крепкое тело суровая заводская жизнь, проведенная большей частью в тяжелой работе у фабричного горна, да в далеких дровосеках; болят и ноют старые кости от непосильного труда и давно уже просятся на покой.

Внука своего Ванюшку отпустил он сегодня в завод и сидит один в своей лесной караульной избушке на нарах, покрхтывает от боли в пояснице да творит молитву.

Тихо, чудно, сегодня в лесу. Высоко к небу тянутся пышные вечнозеленые пихты и ели, гордо стоят стройные гиганты-сосны, далеко распластав свои могучие, словно из красной меди вылитые узловатые ветви и ревниво охраняя от бурь и непогоды целые семьи молодой поросли, пугливо приютившейся в низах у корней.

Тихо в лесу. Только изредка набежит ветерок и лес оживет: зашумят-заговорят старые сосны и ели, медленно и важно качая своими вершинами, нежно зашелестит красавица-береза, боязливо, чуть-чуть слышно залопочет молодая осинка своим трепетным листом.

Привык Назарыч, крепко привык к этому чудному зеленому лесу, сжился он с ним, как с родным братом.

Вот и теперь сидит он на своей убогой постели и не то дремлет, не то бодрствует; седая голова его нет-нет да и сва-

лится как-то беспомощно на впалую, разбитую кашлем грудь.

Вдруг какой-то необычайный шум, сразу вырвавшись из таинственной глубины лесной чащи, поразил слух старого Назарыча и нарушил немую тишину сладко дремавшего леса.

Что бы это такое было? Напряженно прислушивается старик, плохо верит он ушам своим, — не в голове ли шумит? Бывает это с ним, особенно к снегу аль ненастью, да нет, как будто и вправду гудит что-то в лесу, и все ближе и ближе...

В бору действительно слышался все приближающийся не то рев, не то крик множества голосов.

Жутко стало Назарычу.

— Не разберу я никак, что за оказия такая. Инда оторопь взяла... Посмотреть идти. Охо-хо! Господи Иисусе...

Кряхтя и охая, подошел старик к дверям и в ужасе отпрянул назад, не веря глазам своим... Много лет прожил на свете старый Назарыч, пожалуй, и счет потерял им, а такого зрелища не видывал.

Картина, представившаяся его глазам, была действительно необычная: на большой поленице дров, сложенной на прогалине как раз против лесной избушки, поднявшись во весь свой рост на задние лапы и страшно рыча, стоял матерый бурый медведь. Кругом поленицы целое стадо рассвирепевших волков бешено выло и прыгало, стараясь достать своего сметливого врага. Многие из них пытались добраться до вершины поленицы, но медведь одним могучим ударом лапы замертво отбрасывал смельчаков на несколько сажен.

Волки, видимо, преследовали за что-то этого мохнатого царька северных лесов, и медведь, потеряв надежду уйти от своих настойчивых и свирепых врагов, решил попытаться спастись наверху поленицы, подвернувшейся ему на пути.

Но, не предвидя скорого конца этой правильной осады и выведенный, надо полагать, из терпения, медведь схватил тяжелое полено и с страшной силой швырнул его в стаю волков, бешено кружившихся около дров, за ним полетело

другое, третье... и пошла баталия.

Ужасающий вой и рев огласили лес.

Медведь, свирепея все более и более, страшно рычал, в бешенстве брызгая кругом пеной и неумоимо поражая нападающих волков; поленья, как град, сыпались во все стороны.

Волки, получая полновесные удары, кубарем вились по земле, выли, визжали, в бессильной ярости грызли брошенные поленья и снова, как безумные, бросались на своего врага.

Вой, шум и рев стояли невообразимые.

Отпрянув в ужасе назад и трясаясь всем своим старческим телом, следил Назарыч в растворенные двери за исходом этой невиданной, страшной борьбы...

А борьба, видимо, приходила к концу, да и не могла она долго продолжаться: поленница быстро убывала.

Вскоре медведь, разбросав дрова, очутился на земле: крепость его точно растаяла.

Не рассчитал, видно, лесной богатырь, что врагов у него много, а боевых припасов мало, и теперь только смекнул свое критическое положение.

Тревожно заворочал он своей мохнатой головой, соображая, где бы можно найти убежище и еще раз попытаться спасти свою теплую шубу...

И вдруг, не успев Назарыч опомниться, как медведь, свирепо взмахнув последним поленом, с быстротою молнии ринулся к нему в избу, захлопнул дверь и подпер ее своим могучим туловищем.

Долго с воем и визгом кружились волки около одинокой лесной избушки, долго скребли они лапами ветхие двери ее; непрощенный гость не покидал своей позиции, чутко поводя короткими, заросшими шерстью, ушами. Порой он наклонял свою кудлатую голову то в одну сторону, то в другую, как бы прислушиваясь к наружному шуму, и затем сердито и глухо рычал, недовольный результатами своих наблюдений.

Обезумевший от страха Назарыч прижался в дальний угол хаты и не сводил своих старых очей с лохматого посе-

тителя.

Бессвязные обрывки мыслей пронеслись в седой голове его.

— Ужели это смерть пришла, так давножданная? Ужели конец... Да нет, не такой чаял он кончины... Не от зубов лютого зверя, а тихой, тихой, христианской. Не умолил он, знать, великих грехов своих пред Господом... А что, если Ванюша теперь воротится? — тревожно пронеслось в его голове. — Господи помилуй... Владычица Небесная, заступи, спаси и помилуй! — шептали его бледные трясущиеся губы.

Сколько прошло времени в таком ужасно-томительном положении — старик не помнил, но пережитые минуты показались ему вечностью. Наконец, медведь тихонько приотворил дверь и стал внимательно прислушиваться — в лесу было тихо, ни одного звука — потом осторожно перешагнул порог и грузно пошел в глубь уже утонувшего в вечерней мгле леса, потрескивая на ходу сухим валежником.

Особенно тепла была молитва в этот вечер старого Назарыча. Долго стоял он на коленях пред потемневшим от времени медным Распятием и без счета клал земные поклоны, благодаря Спасителя за свое чудесное избавление.

На другой день, только что показалось солнце, одевая лес в пурпур и золото, Ванюша, 15-летний внук Назарыча, уже подходил в лесной избушке, с удивлением посматривая на большую борть\*, стоявшую у дверей караулки.

Старик сидел на пороге и ковырял лапти. Морщинистое лицо его было как-то особенно светло и радостно.

— Что это, дедушка, у тебя? — спрашивал Ванюша. — Никак борть, да еще и с медом, откуда это Бог послал?

— Уж именно, Ванюша, Бог послал... Много годов на свете живу я, много всяких видов видал на своем веку, а этакому делу никогда не поверил бы, кабы не со мной все это случилось, — говорил старик, указывая внуку на борть. — Вот ведь, равно и зверь лесной, лютый, а и тот добро помнит...

---

\* Лесной улей (*Прим. авт.*).

**Василий Брусянин**

**КТО ПЕРВЫЙ ЗАПЕЛ  
КОЛЫБЕЛЬНУЮ ПЕСНЮ?**

(Уральская легенда)

Первым запел колыбельную песню темный, утрюмый лес на вершине горы «Благодать»...

Так гласит одна старинная уральская легенда.

Давно это было... Не помнят люди, когда это было... Жили в лесах, на глухих скатах гор утрюмые люди, отшельники-сектанты, «бегунцы» от соблазнов и греховности мира. Жили мирно, и мать-земля кормила их обильными соками. И лес обогревал их и оберегал их «светелки» с теплящимися лампадами от северных ветров. И зверь пушной дарил им шубы теплые. И птицы леса отдавали им и себя, и свои яйца — яблоки сердца, теплым пухом согретые.

Прошли по горам несметным полчищем люди незнакомые из Татарвы азиатской. Прошли и оставили после себя слезы да стоны, проклятия да беды.

И загубили девичье счастье, теплым пухом матери от северных ветров не прикрытое.

Она была молода, прекрасна и покорна, как покорны голубеющие снега гор пред ярким лицом солнца вешнего. Он был молод, как роса утра раннего, силен как Бог, смел и ласков как дьявол.

Нашептал он, басурман, ей, девице-красавице, в ночи ясные, лунные, нашептал слова вещие. И запали те слова в ее душеньку и жарким пламенем раскалили в душеньке струны певучие.

Ушёл татарский князь с проклятым полчищем, ушел и не простился. И загудели в ее душе струны певучие, загудели и выдали тайну девичью.

Подслушали старики богобоязненные тайну девичью, и загорелись в их глазах дьявольские искры сердца потревоженного. Встали старики, как седые лесные призраки, и обступили вокруг нее кольцом недругов. И, не щадя стыда девичьего, крикнули:

— Опозорила ты нас, окаянная девка!

А она опустила глаза и затрепетала от страха, и заняли в душе ее струны певучие, раскаленные князем-басурманом.

И кричали старики:

— Оскорбила ты нашу веру христианскую!..

— Ты, проклятая девка!..

— Ты, поганая девка!..

А она стояла покорная, как голубеющие снега гор пред лицом солнца вешнего, стояла и молчала, пряча стыд девичий.

Обступили ее старики кольцом недругов... Обступили девку поганую, связали ее по рукам и ногам и в ночь темную унесли в глухой лес, за балку глубокую, и бросили в пещеру на вершине горы «Благодать».

Плакала она, надрывалась и просила:

— Помилуйте!.. Простите!..

Как в бурю осени, диким воем носились по лесу их грозные голоса и гудели:

— Проклятая!.. Поганая!..

Плакала она, надрываясь, и просила мучителей отпустить ее грех молодости... Ушли старики, ушлыли, как уплывают тучи чёрные, разразившись грозой-ливнем.

Осталась она одна и вдруг смолкла... И молчал угрюмый лес на вершине горы «Благодать».

А к ночи поднялась, загудела лесная буря и как будто завалила страшными голосами вход в пещеру, темную и холодную... А та пещера холодная была молочным сосцом земли-матери.

Обласкала мать-земля мать-страдалицу и подслушала ее души струны певучие, раскаленные князем-басурманом.

И родилось в ту ночь новое древо страданий — новый человек...

Так гласит одна старинная уральская легенда.

---

В глухую, ненастную ночь проснулся лес, стряхнул со своих отяжелевших веток вековую дремоту, пошевелил мохнатыми лапами елей и сосен и загудел-загудел... И запел свою чудную, длинную песню без слов, песню неба...

Родился он во тьме, и крик и стон матери встретил его торжественным гимном страданий.

То был стон матери-земли...

К утру небо прояснилось. Замолкла буря. Ушли за далекие грани гор ненастные облака. Встало ясное, яркое солнце. Встало, улыбнулось. Улыбнулось и бросило искры света.

Заалели верхушки замолкших елей и сосен. Сползли на дно балки сырые туманы, точно тая в ярких лучах солнца. Прижались в отдаленные углы пещеры ночные тени. И загорелся свет в глазах нового человека.

Зашептались багряные в лучах восхода листья берез, кленов и лип. Зазвенели тонкие иглы сосен и елей.

И пошел по лесу звонкий гул протяжных голосов. Загудел лес и запел свою вечную мелодичную песню без слов.

Прислушалась к песне леса одинокая мать-страдалица и улыбнулась, улыбнулась и запела, вторя лесу. Запела и излила в песне свою радость дню первому малютки...

То была первая колыбельная песня... Песня песней...

Первым запел колыбельную песню темный, утрюмый лес на вершине горы «Благодать»...

Так гласит одна старинная уральская легенда...

---

И до сих пор та песня, как мировая бессмертная мелодия, носится в горах. Как бескрылая птица, спускается с вершины горы в долину, припадает к журчащему ручью и поет вместе с ним какую-то новую песню без слов, песню неба и земли...

Но вот бескрылая птица несется вдоль долины. Пахучие цветы кивают ей головками и кланяются ей вслед зеленые травы... И опять поднимается та песня леса до вершины горы «Благодать». И повсюду за нею, как прозрачная, незримая тень, носится чуткое, гулкое эхо, носится и вторит песне леса.

Эхо вторит песне леса и чуть слышно гудит-гудит...

Никогда песня леса не обретет покоя, никогда не замолкнет. Гордые зоркие орлы не унесут со своим клекотом всех ее непонятных слов к синим тучам. Мрачные вороны, зак-

ружившиеся в ненастный день над лесом, не унесут ее слов в мрачные ущелья гор. Птицы певчие не перельют ее непонятных слов в хрустальные звенящие трели своих мелодий... Вечно будет гудеть песнь леса, пока не умрут вековые ели и сосны, и не поникнут поверженными белостволенные березы и серые осины с вечно дрожащими листочками...

Не умрет песня леса, не смолкнет ее мелодия и все будет носиться и гудеть-гудеть...

Переймёт песню леса чуткое гулкое эхо и загудит-загудит...

---

В ненастную осеннюю ночь родилась она, первая колыбельная песня...

Родилась вместе с ним, с новым древом страдания, с новым человеком, кого прокляли в утробе матери.

Покинутая, одинокая мать-страдалица подслушала ту песню в ненастную осеннюю ночь. Лежала она в лесу, в холодной каменной пещере и ждала, когда явится он, любимый ребенок. Как темная ночь, притаилась в холодной пещере будущая мать и ждала, когда взойдет солнце ясное.

А лес хмурился и гудел. Черные ели стояли у входа в пещеру и точно сторожили брошенную, проклятую мать. Гудели ели, покачивая верхушками, и часто в вое бури доносился зловещий крик ночной птицы... То был крик мрачного, ненастного неба.

Гудели высокие сосны на склоне горы «Благодать»... И часто в вое бури слышался протяжный, жуткий вой шакала... То был крик злобного, голодного зверя, крик земли...

Гудели березы и осины в темной глубокой балке, и вместе с воем в пещеру доносились пугающие голоса ночи... То был стон пустынного леса.

И ему вторил человеческий стон в холодной и мрачной пещере... То был стон земли... Стон земли, рождающий новое дерево страданий, нового человека.

Стояла холодная земля, а темные, ненастные тучи проносились над ее челом и уносили в страну света и счастья шелест листвы нового древа страданий, плач нового человека...

**Василий Брусянин**

**БЕЛЫЙ ВОЛК**

(Башкирская легенда)

Лежат в белые саваны закутанные холмы и балки. В синеватой дымке тонут далекие, темные леса. В небе тянутся сплошные белые пушистые облака. Уходят к темным лесам узкие, излученные дороги, с ухабами и с вешками по сторонам. Темнеют башкирские хаты под белыми от снега кровлями, и только минарет мечети, как длинный и большой палец самого Аллаха, тянется кверху, напоминая правоверным о небе, о Боге...

В глухие часы ночи, в темные, голодные зимние ночи, воют в лесах и на полях серые голодные волки...

В глухие часы ночи, в лунные, светлые, голодные ночи, воют в лесах и на полях серые голодные волки...

И отзываются на их страшный лесной вой голодные деревенские собаки...

И тянутся долгие зимние ночи, храня тайны чьих-то ночных дум, тайны сновидений... И никто не узнает, каковы эти думы и сновидения. Только кем-то сложенные, кем-то надуманные легенды и рассказы останутся об этих глухих голодных ночах...

А уйдет долгая зимняя ночь, сменит ее утро, холодное и серое, и опять на улице, занесенной снегом, появятся люди. И никто не узнает их дум, никто не отгадает их сновидений...

Загудит, застонет на вышке минарета голос муэдзина, призывающего правоверных к молитве, и начнется жизнь нового дня...

---

Однажды проснулся я в такое же холодное зимнее утро и слышу далекий и глухой призыв чуждой и непонятной мне молитвы.

И вижу я — стоит на конце нар старик Мустафа, стоит на расписном восточном коврике и молится, обратив лицо свое к далекому Востоку. Вот он стоит на коленях, выпрямив спину и слегка закинув назад голову. Руки его вытянуты вдоль колен, и пальцы сомкнуты и вытянуты, а глаза

устремлены куда-то в темный простенок между окон, и что-то шепчут старческие, бледные губы. Вот он поднялся на ногах, выпрямился во весь рост и опять быстро упал на колени. Закрыв лицо ладонями, согнул спину и припал головою к нарам. И снова выпрямил спину, и снова поднял голову... И читаю я в его больших серых глазах тихое, благоговейное спокойствие...

О ком, о чем он молится — не знаю я... Но я чувствую, что и на мою душу спустилось бы благоговейное спокойствие, если бы я умел молиться моему Богу...

Кончил Мустафа молиться и вышел из избы. Бледный рассвет глядел в окна, а из сумрака утра все еще неслась чуждая мне, непонятная молитва муэдзина...

Два дня мы с Мустафой ходили по хатам башкир и выясняли «кормовое довольствие» до сих пор не известных мне молчаливых и спокойных, голодных людей. Обошли хат тридцать, опросили всех, и я занес в ведомости имена неизвестных мне мужчин, женщин, стариков, детей. Заполнил я каждую клеточку то цифрами, то крылатыми словами: «нет», «не имеет», «не родилось», «пала лошадь от голодухи», «продал овец» и т.д., и т.п.

А потом мы, прозябшие и сами голодные, вернулись в хату сельского старосты поздно вечером и принялись отогревать себя чаем.

— Вся работа кончал? — спросил меня Мустафа, ломая русскую речь.

— Все кончил... завтра надо ехать в Разбахтино, — отвечал я.

Усмехнулся Мустафа в углы своих бледных губ и сказал:

— Пиши... пиши... волость бить (ведь) все писарь пишет... а башкир умирает... умирает... ульган, значит, по-нашему...

— Умирает? — спросил я, и это слово сорвалось с языка как-то нерешительно, как будто стыдно мне было произнести его.

— Ульган,— повторил башкир.

И он рассказал мне о случаях смерти от голодовки и в их деревне Училлях, и в Разбахтино, и в других селениях в округе верст на сорок или пятьдесят.

Занес я в свою записную книжку содержание этого бесхитростного рассказа и не знал, о чем еще надо спросить сельского старосту. Сидел на нарах, сложив ноги калачиком, по-башкирски, пил горячий чай с ромом и молчал. Молчал и Мустафа.

А потом пристально посмотрел мне в глаза и спросил:

— Вот сява я хотел тибя спросить: какой день мука, акча (деньги) наша деревня придет?..

— А вот вернусь я в город, передам ведомости в комитет, а там скоро и муку, и деньги вышлют...

Опять усмехнулся башкир, но ничего не сказал. Сидит молча, смотрит на пол и о чем-то размышляет. А потом вдруг тряхнул головою, сдвинул на затылок бархатный с шитьем тюбетей и спросил:

— Долго, бить, бульно это?.. Народ сапсем умирает!..

Смотрю я в его большие серые глаза и молчу. Как молоток стучит мне в голову одна и та же мысль, и знаю я, что пока я объеду три волости, пройдет недели три, а то и месяц. За это время, действительно, люди могут умереть от голода или заболеть цингой или тифом. Но что же я могу сделать?

Точно обиженный мною, вышел Мустафа из избы. Сказал, что пойдет запереть скотину в хлевах. Тихо в избе, и сумрачно, и холодно.

Подхожу к окну, выходящему во двор, гляжу во мглу ночи. Белеет за окном снег, холодом веет от темных стекол окна. Должно быть, за кровлей сараев поднимается луна: мутно-белым светом залито небо там, за этой кровлей, под шапкою толстых слоев снега.

Скрипнула дверь из сеней. На ступени крыльца и на снег упала полоса света. Это Мустафа вышел из сеней с фонарем в руках. Вот он идет двором, направляясь к сараям и хлевам. Темным пятном двигается его фигура, в руке дрожит свет фонаря. Потух огонек, как звездочка, прикрытая набежавшим облаком: Мустафа скрылся под навесом сарая.

И пока он бродил по двору, я стоял у окна и прислушивался, не скрипнут ли ворота, не залает ли где-нибудь собака, не отзовутся ли строгим, размеренным звоном часы,

маятник которых так медленно отбивает минуты?.. Тягостные чувства будила эта тишина. Как будто и вправду все население Училлей давно уже вымерло, не дождавшись комитетских денег и муки. И остались в живых только мы с Мустафой. Я хочу отыскать что-нибудь руководящее в своих думах, а он бродит по хлевам и замыкает двери большими железными замками.

Вчера он долго жаловался мне на воров и, жалуясь, никого не проклинал. А говорил только о том, какая беспокойная наступила жизнь с осени. Вот опять блеснул во дворе огонек его фонаря, и снова маячит в сумраке его темная, длинная фигура. Вот он подходит к воротам, стучит тяжелым железом, лязгает большим замком. Вот он подошел к двери в бревенчатом срубе у самых ворот. В этой темной постройке помещается его лавочка: Мустафа — местный торговец, продает чай, сахар, керосин, муку, ситцы разные... Вчера он жаловался на плохую торговлю и говорил, что бывают дни, когда совсем не приходится отпирать лавочку, покупателей нет.

Пожаловался он на отсутствие покупателей и опять заговорил о ворах. Лучший товар он перенес из лавочки в заднюю избу, а все же осматривает по ночам, цела ли дверь лавки, не сбит ли замок. Говорил он мне и о том, как в течение ночи не раз приходится выходить из избы, осматривать замки на дверях хлевов и лавки.

В ночных сторожей он перестал верить с тех пор, как несколько лет назад, в такую же голодную зиму, при содействии ночного сторожа у него взломали в лавочке двери, да и из хлева свели овец и лошадь. Лошадь нашлась, ее вернули за приличный выкуп, а товары и овцы так и остались у неведомых воров.

Вернулся Мустафа в избу, притушил фонарь и молча принялся делать для меня постель, взбивая мягкие перины и подушки.

— Что, верно, воров боишься, Мустафа?

— А... шайтан их!..— только и вымолвил торговец. Вынул из сундука большое и теплое одеяло, бросил на готовую постель и сказал:

— Мягка... тепла будет... спи!..  
И молча вышел, убавив в лампочке пламя.

---

Лежу на нарах с книгой, но читается плохо: бродят в душе впечатления дня и никак не могу разобраться в них... И чувства точно охладели, и мысли словно разбрелись: не могу привести их в порядок и додуматься до чего-нибудь определенного. Единственным человеком, с которым я беседовал за эти два-три дня, был Мустафа, но и он точно не может понять, что творится в его родной деревне и в десятке соседних селений.

Мустафа — сельский староста, лицо должностное, и в силу этого ему поневоле приходится входить в подробности жизни односельчан. Не раз он в течение дня бранил свою должность и восклицал:

— А... шайтан!.. Торговый, бить, ми селовек... хлеб мала-мала продаем, лошадка, овеська покупаем... и всякий сбруя...

Мустафа — типичный деревенский скупщик. С осени он скупил на базарах хлеб и теперь продает его с громадной прибылью. Скупленный скот держит на хуторе, верстах в пяти от деревни. Хутор охраняют его два сына, а сам он сторожит дом и лавочку.

Все же с какой-то тревогой в глазах и дрожью в голосе рассказывал он мне о том, как скупал лошадей по 10-15 рублей за штуку, коровы шли еще дешевле, а овцы скупались по полтиннику. Не пользоваться случаем он не мог, но его явно беспокоила эта бешеная скупка.

Торговля обещала быть прибыльной, а все же смута пошла в народе, и почти каждый день до его слуха доходили вести то о взломанном амбаре у кого-нибудь в округе, то о том, как угнали лошадь из хлевов какого-нибудь богатея, то согнали со двора овец.

Свои беспокойные думы Мустафа прятал за такими рассуждениями:

— Тащит бедный людя овеська... купи, пожалиста, Мустафа!.. и купим... Лошадка тащит — купим... Сява делаешь... ашать, бить, народ хочет... Бедный башкурт, а ашать хочет...

Говорит так, и вижу я: неподвижным, окаменевшим выражением застыл в его больших серых глазах ужас...

Вчера утром я видел, как привели во двор Мустафы худую, лохматую лошаденку и пару овец. Лошаденку привел низенький с темным и худым лицом башкир, в рваном зилене и в одной тубетейке на голове. Овец пригнала женщина, старая, с растрепанными волосами, со слезящимися глазами. Смотрел я на этих людей и дивился: как не холодно им на дворе в двадцатиградусный мороз?

Не особенно внимательно осмотрел Мустафа лошадь и овец. Потолковал о чем-то с продавцами, отпер лавку и насыпал в мешки башкира и башкирки муку и сколько-то денег выплатил им за скупленных лошадь и овец.

И не успели продавцы уйти со двора, как увидел я младшего сына Мустафы сидящим на лошади. Отбивая поджарые бока лошади лутошкой, красивый черномазый юноша выезжал за ворота. К себе на хутор угнал Мустафа лошаденку.

— Почем купил, Мустафа? — спросил я старосту, когда он вошел в хату.

— Ай-яй... сапсем дешева! — ответил он, но не сказал, за сколько купил.

---

Вчера вечером Мустафа рассказал мне старинную башкирскую легенду о белом волке. Лежу я в его хате, при тусклом свете лампочки, и думаю об этой легенде. Книгу читать не могу, а легенда о белом волке занимает мои думы. И мне все хотелось разгадать ее смысл и как-нибудь прицепить ее к жизни, слить ее содержание с тем, что я видел, и с тем, о чем я слышал за долгие дни скитания по голодающей губернии. И в этой легенде говорится о голодающих людях и даже голодных зверях.

Старик Мустафа, деревенский скупщик, рассказал мне эту странную легенду. Как же слить ее содержание с тем, что он делает, с тем, как он думает и чувствует...

Книга была со мною умная и интересная, и автора ее любил я, а вот не мог читать этой книги. Легенда о белом волке кажется мне и красочней, и содержательней, только я никак не могу постичь глубину глубин ее содержания...

Вот она, эта странная башкирская легенда.

«Хоронятся, прячутся в темных лесах, глубоких балках серые волки, прячутся от света дневного, от дозора человеческого. Рыщут в полях, на дорогах серые волки по ночам... И горят в темноте их голодные глаза, как свечи, которых никто не потушит. Рыщут по полям серые волки табунами, «косяками», как в былые времена бродили по степям башкирские кони... рыщут по полям серые волки и воют от голода...

Белая снеговая поземка стелется по степи, заносит балки и дороги с ухабами, качает засохшие стволы крепких степных трав, треплет вешки у дорог и обдает холодом серых голодных волков, худых, злых, с поджатыми хвостами...

К самым деревням, к сараям и хлевам подбираются волки в глухие зимние ночи. Не увязая в снегу, легкие и дерзкие, подкрадываются голодные волки к сараям и задирают, режут овец и телят. А то и на корову набросятся или на лошадь голодные звери.

Лают, воют, заливаются на деревне собаки, а серые волки ничего не боятся: гонит их голод на ружейный выстрел или на удар дубины или кистеня. А спугнет кто голодных зверей выстрелом или криком, и понесутся они к лесу. Не добегут до леса, останются, обернутся и злыми глазами, в которых горят неведомо кем зажженные свечи, смотрят на деревню, занесенную снегом... Поят, пооят у дороги, а то и лягут, и ждут — когда смолкнет собачий лай на деревне. А смолкнет собачий лай, потухнут огоньки в окнах, и гуще потемнеет ночь — и волки опять крадутся к сараям и хлевам.

В голодные годы волки бегают по полям целыми стаями: по двенадцати вместе. А тринадцатый волк с ними —

белый... Те двенадцать — серые, тонконогие, с поджатыми хвостами, а тринадцатый, белый волк, на крепких и гибких ногах, и хвост у него пушист и толст, как метла...

Белый волк, как атаман, водит по деревням серых волков и точно указывает им, где плохо прикрыты и ухищены сараи, хлевы, где лежат и жмутся от зимней стужи овцы, где коровы, где лошади...

И смолкают деревенские собаки, когда зачуют приближение стаи волков во главе с белым, и прячутся под избы или под плетни, или под телеги, друг на друга сложенные в пустых сараях. И люди засыпают крепким сном, когда приближается к деревне белый волк со своими товарищами...»

Так говорит старинная башкирская легенда...

«А когда опустеют деревенские сараи и хлевы, поедят голодные люди овец или продадут их скупщикам, и уведут те богатые люди овец, коров и лошадей в свои крепкие сараи и хлевы, куда волку не попасть и где целыми ночами сторожат добро люди с ружьями и кистенями в руках... Тогда вот беда и приходит к волкам серым. Рыщут они по полям и лесам и лязгают зубами в жадных и голодных пастьях... И еще ярче горят в их глазах неведомо кем зажженные свечи... Тогда и человеку опасно повстречаться с волками...

Рыщут голодные серые волки по полям и грызутся между собою от злости... И вот случается тут лесное звериное чудо. Набрасываются все двенадцать серых волков на тринадцатого, белого, и загрызают его насмерть и утоляют великий свой звериный голод. Набрасываются серые волки на белого, а тот покорно отдает себя на съедение товарищам. И бежать не пытается, и огрызнуться не посмеет, а покорно отдает себя в жертву звериную... Сам Аллах повелевает белому волку отдать себя на съедение зверям голодным. Посылает Аллах волка белого к серым его товарищам, и водит он их по деревням и указывает, где можно пожить, а когда оскудеют сараи и хлевы, повелевает Аллах волку белому отдать себя голодным серым товарищам».

Так говорит старинная башкирская легенда...

А за этой старинной, странной легендой тянется из тьмы годов и еще не менее странная легенда о старике Тавильяре, башкире неведомого селения...

«Никто не знает, когда и где жил этот Тавильяр... Жил себе, чтил священный Коран и ходил в мечеть молиться. И случилось так в те давние годы, когда жил Тавильяр... Случился на земле большой и страшный голод, и стали люди умирать от болезней... Приели люди хлеб, какой был с осени, приели и весь скот, и даже резвых “косячных” лошадей не пожалели...

Великий в те годы был голод на земле! Вся земля голодала!.. Летом высохли все ключи, и ручьи и реки обмелели. И солнце всходило на чистое безоблачное небо, жгучее и беспощадное, как огненно-красный царь-мучитель... Посохли хлеба... поблекли травы... Напал на леса громадный красный червь, напал и уничтожил узорный наряд деревьев. Начались лесные пожары, и выгорели поля и леса. Выгорела вся земля, жаждущая воды и голодная, и раскаленная палящими лучами солнца, небесного царя-мучителя...

Пришла зима после голодной осени, опустели деревни. И бродили по полям серые волки и поедали своих белых товарищей, как повелел Аллах. Поели серые волки белых — и голода своего не утолили. Бродят около деревень, воют от голода, и горят в их глазах неведомо кем зажженные свечи...

И вот — так говорит старинная башкирская легенда — и вот вышел седой старик Тавильяр на середину улицы и крикнул всем людям:

— Ешьте меня!.. ешьте!.. Сам Аллах пришел ко мне в ночи и сказал: “Иди, Тавильяр, к голодным людям и отдай себя им на съедение... Пусть тебя съедят и будут сыты”.

Шарахнулись перепуганные люди от Тавильяра, а он смотрит на всех безумными глазами, в которых так же, как и в глазах голодных волков, горят неведомо кем зажженные свечи, и кричит:

— Ешьте меня!.. ешьте!.. Аллах так повелел...

Не посмели голодные люди съесть Тавильяра. А когда он заснул, ночью к нему опять пришел Аллах и сказал: “Тавильяр, выйди на улицу и скажи голодным людям, чтобы они тебя съели...”

И опять вышел поутру Тавильяр на середину улицы и крикнул:

— Съешьте меня, голодные люди!.. съешьте!.. Так Аллах повелел.

И опять шарахнулись голодные люди от безумца Тавильяра.

И так в течение трех ночей приходил к Тавильяру Аллах, когда тот спал, и приказывал ему пойти и отдать свое тело голодным людям.

И так три дня, по утрам, Тавильяр выходил на середину улицы и кричал:

— Съешьте меня, люди голодные!.. съешьте!.. Так Аллах повелел.

И шарахались от безумца Тавильяра голодные, испуганные люди.

Совсем обезумел старик от горя. А когда пришла ночь, выбежал Тавильяр в поле.

Долго бежал по снежной дороге, и белые вихри развевали его седую бороду и подгоняли его к лесу.

Светила яркая, ясная луна и серебрила белую бороду Тавильяра. И бежала за стариком по снегу его большая и длинная тень...

Добежал Тавильяр до леса и видит: вспыхнули в глазах голодных волков неведомо кем зажженные свечи. Остановился старик, приподнял руки к небу и что-то крикнул... И совершилось волшебное лесное чудо: превратился самоотверженный старик в белого волка.

И бросились на Тавильяра голодные серые волки... И растерзали серые волки Тавильяра — белого волка, и потухли в их глазах неведомо кем зажженные свечи...»

Так говорит старинная башкирская легенда о белом волке...

**Василий Брусянин**  
**ВЕЧНАЯ МОГИЛА**

Вечная могила... Какой непостижимо страшный образ! В дни войны, когда родина в опасности, хотелось бы чувствовать бодро, хотелось бы быть во власти мечтаний о новой жизни. Хотелось бы думать о победах родного народа и славить будущую свободу, добытую кровью тех, которые нашли вечную могилу на чужбине или у границ родины...

Так и борются в душе два настроения: образ вечной могилы затуманивается образом вечной жизни...

Припоминается мне один рассказ, похожий на древнюю легенду; а я так люблю легенды: в них всегда два образа, — вечная могила и вечная жизнь.

Дикарь-башкир рассказывал мне эту легенду-быль, и она записана в моей старой записной книжке от юных лет, так, как рассказал он... На вечной могиле старик Нурей обосновал новый образ и назвал его кровной мезтью... И не он так назвал свое страшное и могучее чувство, а те люди, которые учили его молиться и бороться за себя и за своих близких...

Помнится, в те годы, когда я слушал рассказ Нагиба, сына старика Нурея, два образа боролись в моей душе. С тихой грустью я проходил мимо вечной могилы, с тайной радостью я отыскивал в своей душе источник чувств, сходных с чувствами моего рассказчика, седого старика, на лице которого жизнь провела морщины, как символы былых мук и былых побед...

В кабинете деда, над письменным столом, на деревянной подставке из большого узловатого сука сосны стояло чучело большого филина, какие водятся в наших уральских лесах. И это чучело олицетворяло в моих представлениях — вечную жизнь и вечную могилу. Два образа сливались в серой неподвижной фигуре, и мне, юному, хотелось разгадать и тайну жизни и тайну смерти. Я представлял себе, как этот филин, когда был жив, кружился в лесной глуши в темные ночи или сидел на дереве и кричал своим страшным ночным пугающим голосом. А днем, прячась от света, он сидел где-нибудь в дупле и дремал и думал о ночи — стихии его жизни... Мне хотелось представить, как он в часы ночные носился по лесу и ловил маленьких птичек и по-

жирал их, разбрасывая легкие пушистые перышки маленьких пернатых. И все это было — вечной лесной жизнью филина. Но вот его подстерегли и подстрелили, содрали с него шкуру с темно-серыми перьями и сделали из ночного лесного скитальца чучело. Вместо прекрасных, зорких ночью, мистических больших глаз люди вставили в глазные впадины раскрашенные стекляшки, подделанные под глаза... И чучело стало выразителем вечной могилы...

\* \* \*

Дикий сын степей, башкир Нагиб, со слов покойного отца назвал вечной могилой многоводную, быструю речку Дёму. Стоял у грани воды, задумчиво смотрел на темную воду и говорил:

— Бачка (отец) минà бульна умнà был... Сестра моя, Фатима, шайтан вода тащил. Бачка Фатима лодка тащил... речка тащил лодка... Бух вода Фатима. Бачка Фатима рука тащил, кусал Фатима рука бачка... Бросил бачка рука Фатима... пошла Фатима река, самый дно... Не видал бульпе бачка Фатима, не видал бульпе Фатима я...

Странными своими, особенными словами рассказывал башкир Нагиб о том, как утонула в речке Дёме его сестра Фатима.

Любила Фатима степного красавца Сафиуллу, любила и много плакала, когда его погнали на войну. Год прошел, а Фатима все плакала. И еще год прошел — и пришли с войны лихие вести: убили Сафиуллу турки-злодеи. Взыбла Фатима и дни и ночи рыдала. Приходили к Фатиме подруги; утешали, но плакала она, и подруги вместе с нею плакали по степном красавце Сафиулле. Приходили к Фатиме старые люди — дядя Нугабулла и старый дед Нухим, но плакала безутешно Фатима и дни и ночи... Уходила в степь, на дорогу, по которой Сафиулла ушел на войну, и там сидела у дороги и плакала.

И целую зиму плакала Фатима о красавце Сафиулле. Днем не радовало ее солнышко, самоцветными искрами игравшее на ровных степных покровых. По ночам рыданиям Фатимы вторили стоны ночной снежной бури. Исхудала Фатима за зиму, ослабела, притихла и замолкла: из избы не выйдет, а прячется и от своих родных и от подруг.

Давно умерла мать Фатимы, и некому было утереть слез опечаленной невесты, а отец, старый Нурей, не понимал сердца женского и все сердился на дочь, зачем она так долго плачет о том, кого нет, кто умер.

Стала прятаться Фатима и от отца родного. А пришла весна, одел Нурей насильно дочь свою и выволок из избы. А ему помогал старший сын Нагиб, брат Фатимы. Привели насильно девку на берег речки Дёмы и усадили в лодку. К старому мулле захотел Нурей отвезти свою дочь, чтобы помолился он о ней, чтобы угрозами своими развеял печаль девки.

Отплыла от берега лодка-челнок утлый, мелкий, пугающий путника. Но крепко держал старый Нурей дочку свою за плечи и руки, и сильно греб Нагиб веслом, чтобы переплыть на луговой берег речки.

И вот заворочала Фатима дикими глазами, стала рвать руками рубаху белую и кричать что-то свое, чего и старик Нурей с Нагибом понять не могли. Крепко держал Нурей дочку за плечи и руки. Усиленно греб Нагиб веслом... А Фатима все рвалась из рук отца и кричала что-то непонятное...

Ослабел старый Нурей, кричит сыну:

— Булушмяк! (помоги).

Брассигл Нагиб весло в лодку, двинулся к отцу и сестре, а буйные волны вешней воды понесли лодку вдоль берегов, закрутили ее, потащили лодку к луговым берегам... Словно большой и сильной выросла вдруг Фатима. Встала на ноги, качнулась, крикнула что-то непонятное и бросилась в воду... Не пускал старик Нурей руку дочери из своих сильных рук, а она рвалась... Опрокинулась лодка, и Нагиб полетел в воду следом за стариком-отцом и сестрою... Далеко отнесли волны старика Нурея и Фатиму. И больно Фатима

кусала руки отца и рвалась уйти в глубь темно-зеленых волн речки...

С трудом выбрались из воды старик Нурей и Нагиб, а Фатима скрылась под водой. И с тех пор никто ее не видел, и труп ее не вынесла река весной на свои отмели...

Так и пропала Фатима, исчезла, ушла за своим суженым в тайный мир загробной жизни...

С тех пор старик Нурей и прозвал речку Дёму вечной могилой. Поглотили ее воды красивое тело Фатимы, скрыли дочь, любимую, единственную, в водах своих... И стал старик Нурей поклоняться речке Дёме, как вечной могиле своей любимой дочери...

Так рассказывали про старика Нурея. Каждый день в сумерки выйдет он на берег Дёмы, к тому месту, где когда-то он и Фатима переплывали вешние воды, — выйдет к речке, постоит, подумает, потоскует и пойдет вдоль по берегу, вниз по течению... И опять остановится на берегу около плачущих ветел и шелестящего камыша и смотрит на воду, в то место, где утонула Фатима...

Крутится зеленая вода над речными омутами, несет щепы какие-то, сучья и листья, крутится, точно совершает свой вековой, непонятный человеку обряд вечного движения.

Постоит-постоит Нурей, потоскует и опустится на колени и долго молится и кланяется на Святой Восток и с грустью в глазах смотрит на речку Дёму, вечную могилу красавицы Фатимы...

И умер старик на берегу речки Дёмы, около того места, где утонула Фатима. Вышел жарким летним вечером на речку, чтобы помолиться вечной могиле. Встала, поднялась над ковыльной степью туча черная, бурливая. Долго грохотала вдали громом и разносила по степи грозные волны гула своего. Долго светилась молниями над степью и бросала на чело вольной степи раскаленные стрелы... Подул ветер с лугового берега и принес тучку из степи и заволок луга речные тьмою и частой сеткой дождя. Стоял Нурей у берега и молился. И ринулась на него стрела неба ненастного и сразила старика, убила... Потемнел весь Нурей,

как туча неба, и упал замертво на песчаную отмель. А не случись этого, не пожалей его небо, долго ходил бы он на берег, тосковал бы о своей любимой единственной дочери Фатиме и плакал бы... плакал над вечной могилой вечными отцовскими слезами.

Кончил Нагиб свой рассказ и не глянул на меня. Только посмотрел в ту сторону, где утонула Фатима, поглядел и на песчаную отмель, где упал сраженный молнией Нурей.

Было это в ненастный вечер весны. Дул ветер с низа речки и поднимал волны с белыми гребнями... Билась привязанная к берегу лодка шагах в десяти от шалаша, и подошел к этой лодке Нурей. Развязал веревку, подтянул лодку ближе к берегу и опять затянул мертвый узел вокруг толстого дубового кола.

Лежал я в шалаше у потухающего костра и смотрел на Нагиба. Стоял он на берегу около лодки, заложив руки назад, и смотрел на волны. Вижу ясно белые штаны на нем, босые ноги в грязи и с потрескавшейся кожей, вижу его длинную рубаху ниже колен, непоясанную, серую от грязи и пота... Вижу и его поседевшую бороду, большой с горбинкой нос, низкий лоб, вижу и замазанный старый тюбиктей, которым прикрыта его голова. Не вижу только его темных зорких степных глаз, которые так красиво оттенены темными бровями и темными ресницами. Какая дума в этих глазах? Не знаю я...

Вечереет... Солнце опустилось за грань степи. Поднялся туман над лощинами степи, над болотами, в которых дремлют темные кусты низкой лесной поросли. По небу куда-то спешат облака, серые, низкие, грозящие дождем и вешним холодом... Подбрасываю веток в потухающий костер, и серые клубы дыма заносит степной ветерок прямо на меня, застилает дым глаза, пробирается в рот и нос, и я чувствую горечь, а горло что-то щекочет...

Подходит ко мне Нагиб и с улыбкой смотрит на меня: как я протираю глаза, как я отплеываюсь от едкого горького дыма.

— Давай огня бульше, Василий. Ночь бульно холодна будет, — говорит он мне ломаным русским языком.

И вот мы пьем с ним чай темным вечером и ждем, когда придет холодная и темная ночь.

Высыпали на небо звезды, а облака ушли куда-то в даль степи и не исполнили своей угрозы. Теплом весны повеяло из степной дали, и хотелось спокойно сидеть у костра и дремать или прислушиваться к голосам степной ночи на берегу извилистой красавицы Дёмы.

Кричали на отмели кулички, еще не заснувшие внешней ночью, когда так хочется любить и ласкать кого-нибудь. Где-то вдаль скрипел коростель... Где-то далеко в степи перезванивали колокольчики, привязанные к шеям сосунков-жеребят.

Молча сидел Нагиб у костра и смотрел в даль степи. А мне хотелось быть во власти того рассказа, который я услышал от Нагиба. Смотрел я на речку, и мне представлялась и Фатима с ее отчаянной решимостью покончить дни свои самоубийством, и старик Нурей, который так старался спасти дочь и потом тосковал по ней, и Нагиб, который дожил до седых волос и сохранил в себе память о внешней речной катастрофе.

— А давно это было? — спросил я.

— Сява? — отозвался Нагиб, очнувшись от задумчивости.

— Давно ли это было, когда умерла Фатима?

— Малайка (мальчиком) я була... сапсём малà-малàа лошадка пахал степь... Умирал Фатима, умирал Сафиулла, а старик-атай Нурий сказал мина: Нагиб, ходи турецкий сторона, режь турка... Турка наша Сафиулла резал, Фатима Сафиулла любил, вода пошел... Ходи, Нагиб, турецкий сторона, режь турка... Один вера наша, один Бог... Засем турка Сафиулла резал...

Уронил Нагиб эти беспорядочные слова, и глаза его загорелись огнями мести и злобы.

— А когда мина солдат взяли, я сказал русский царь: айда, посылай мина турка!.. Балкан ходил, генерал Скобелев... белый генерал... самый ява дивизия был Нагиб, и турка вот как живот порол... Раненый поля лежит, идем к нему товарищем... Абдулка звался... идем к раненым, режем им

брюхо... Зачем Сафиулла. стрелял? Зачем Фатима вода пошел?..

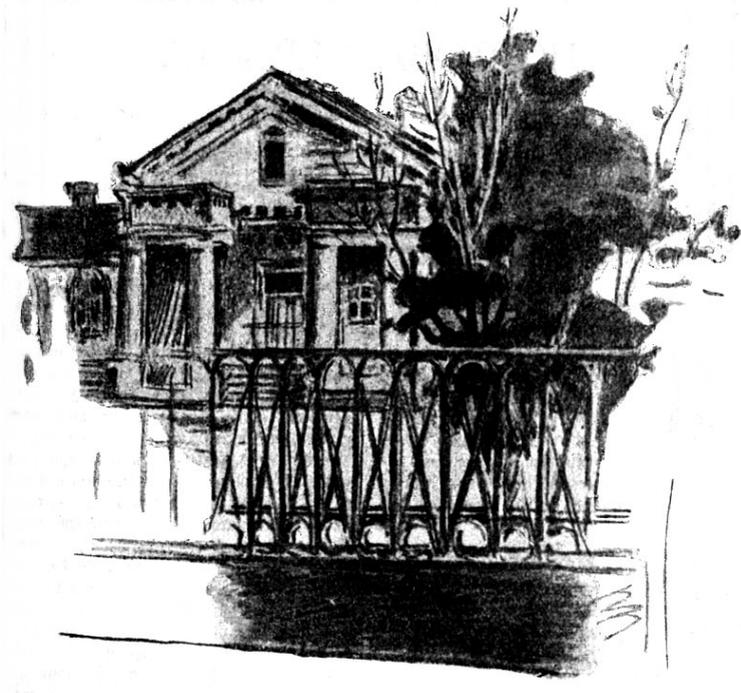
Он бормотал и еще что-то, но я уже не мог его понять. Так ярко горели в его глазах искры мести, так жив он был в эту минуту своей былой мезтью...

А в небе горели, переливались тихие, молчаливые звезды, как лампы мира... И кулички кричали на отмели. И костер у шалаша горел, не потрескивая, а безмолвно, дремотно... И была такая тихая ночь на вечной могиле. И так ярко жила в душе Нагиба былая мезть, и глаза его горели как звезды, как яркие лампы божеству борьбы и мести.

**Василий Брусянин**

**ЧЕРТОВА НЕВЕСТА**

Илл. К. Богуславской



Дом помещиков Голубинских я помню с детства. Этим домом, необитаемым и таинственным, пугали нас, маленьких, и кухарка, и кучер. А наша старая няня, старушка Митродора, говорила:

— И-и... касатики! Не глядите в его сторону... Бог с ним! Нечистая сила в нем покоится...

Мы не понимали, как может покоиться в Голубинском доме нечистая сила и от этого таинственный и необитаемый дом казался еще страшнее.

А как было не глядеть в сторону страшного дома? Обширный сад Голубинских примыкал к нашему двору и саду. Окна столовой и гостиной нашего дома были обращены в сторону Голубинского сада. Из окон нашего мезонина были видны — Голубинский двор, по которому никогда и никто не проходил, сад с запущенными дорожками, прожарившаяся и местами провалившаяся кровля и старые печные трубы на кровле.

Посыпанный желто-красным песком наш двор ограничен был железной решеткой с кирпичными столбами, а за этой решеткой стояли высокие липы, березы и клены запущенного сада. Голубинский дом окружала широкая площадка, заросшая бурьяном. Были когда-то около дома цветочные клумбы. Но эти клумбы давно уже не украшались цветами, а четыре каменных столба, на которых когда-то стояли какие-то статуи, покривились и потемнели от времени.

В Голубинском доме, как рассказывала нам старая няня, было более десяти комнат. В ширину всего дома был устроен обширный зал с колоннами, расписанными голубыми цветочками, с хорами, отделенными от зала причудливой решеткой из лепных веток и цветов. Зал в два света и в верхних окнах у самого потолка долго еще сохранялись позеленевшие от времени стекла. Когда проходишь мимо дома по Голубиной улице или останавливаешься против дома, из-за потемневшего и развалившегося местами забора видны прямые толстые колонны, которыми был украшен главный фасад дома. Колонны эти, сделанные из толстых дубовых стволов, когда-то, как и весь дом, был окрашены в голубую краску, «под цвет голубков», как говорила наш няня.

— Голубинскими прозывались господа, вот и дом был выкрашен под цвет голубков...

Помолчав немного, няня добавляла:

— А кротости голубиной в самих господах вот и настоящее не было...

И прижимала старушка большим пальцем руки кончик мизинца, показывая, как мало было голубиной кротости в господах Голубинских.

С тех пор, как помню я себя в детстве, стены Голубинского дома стояли полинявшими и облупившимися. Кое-где за наличниками окон, под крышей и колоннами еще голубела выцветшая краска, а в остальных местах досчатая обшивка дома была серая, сгнившая. Кое-где доски со стен были содраны и из-за них виднелись толстые бревна, тоже прогнившие. Почти все окна дома были забиты досками и двери заколочены. Сгнил потолок, покосились и провалились полы. Вся мебель и красивое убранство дома давно уже

куда-то были вывезены и даже изразцовые печи были разобраны и тоже вывезены.

— Бывала я в Голубинском доме,— рассказывала няня, — куда как хорошо в нем было!.. И куда все девалось?.. Молодые-то господа всего дня три-четыре и доме и прожили, а потом все и вывезли к себе в имение.. Добро свое вывезли, а худую славу хором своих нам оставили... Допрежь и стекла в окнах были, да... люди озорные все их камнями выбили. Каждый, кто, бывало, проходил мимо дома, уж непременно поднимет с земли камень и лукнет в окна... Дзинь!.. Все нечистую силу пугали, а где ее спугнешь, коли она упокоилась в Голубинском доме?..

Я помню — в конце Голубинского сада была маленькая хибарка в два окна, с темной узкой дверью, с полуразвалившимися печными трубами на потемневшей кровле, крытой лубом и дранкой. В этой хибарке жил согнувшийся от времени старик, которого все называли Прахом. На самом деле его звали Пахомом, но кто-то прозвал его Прахом за древность его дет, за седину его, одиночество и слабость.

Жил Прах в хибарке и сторожил голубинский дом и сад. Молодые господа присылали старику из имения муку, крупы разные и сало. Какая-то старушка-нищенка ходила к Праху, готовила ему из круп похлебку, пекла хлеба и, питая старика, и сама питалась около него... говорят, будто когда-то Прах любил нищенку. Была она тогда молода, как и сам Прах. Почему-то не обвенчались они и всю жизнь любили друг друга, как живут голуби на чердаке покинутого дома.

Старик давно уже не выходил со двора. По вечерам и ночью окна его обиталища никогда не освещались. В солнечные дни я часто видел старика сидевшим у крыльца избушки на скамье. Глядел он в сторону улицы странными выцветшими глазами и грелся на солнышке.

Иногда в солнечный день к нему приходила нищенка. И оба они что-то жевали беззубыми ртами и сидели рядом, и опять казались мне похожими на голубков на старой дырявой кровле Голубинского дома.

Няня рассказывала о старике Прахе:

— Крепостной Голубинский он был... когда господа в городе жили, он в кучерах ездил, тройкой вороных коей управлял и был сильный и красивый, в бархатной безрукавке, в шапочке на голове с цветными перьями. Продали господа городских лошадей, кареты и экипажи продали, каретник и конюшни сломали и увезли в имение. И остался старик ни при чем... Тогда помоложе был Прах и караулил дом и сад, а для чего караулил, и сам, бывало, не скажет... По ночам из ружья палил, а тут квартальный и ружье огобрал: «Ты, говорит, и зря еще кого подстрелишь...» Отобрали у него ружье и стал он по ночам трещать трещоткой какой-то, воров пугать... А что и воров пугать, коли никто и ничего тащить-то из Голубинской усадьбы не хотел... В ту пору рассказывали, будто один приезжий кузнец на дверные петли позарился, скрал их ночью, а на другой день и повесился. Пришла к нему утром на заре женщина какая-то и ну его щекотать, да обнимать, да целовать... Заржал, как конь, кузнец, выбежал из кузницы и в лес, а на другой день его на суку и нашли... Висит на суку кузнец и молоток в руке держит. Хотели вынуть из руки молоток. Не вынули, закаменел. Так с молотком и в землю пошел кузнец... С тех пор воры и стали бояться Голубинского дома... Это уж потом, когда Прах умер, избенку его по бревнышку растащили. Народ пошел смелый, нечистой силы не боялся и растащил избенку. В те поры и из дому стали потаскивать: кто кирпичи уволокет, кто доску какую. Стекла в окнах вынимали и тоже к себе уносили... А тут и окна молодой барин приказал досками забить...

Я жил с родными в Москве, когда старик, именуемый Прахом, умер. А когда вернулся в свой родной город и милый дом, — избенки, где жил Прах, уже не было и только кирпичный фундамент, заросший бурьяном, означал, где когда-то стояла старикова хибарка.

Но я почему-то до сих пор часто вспоминаю старика Праха. Дряхлым обликом своим, седой лысой головой с морщинистым лицом и добрыми старческими глазами, смирением своим и заброшенностью, он не внушал мне страха. Скорее его было жаль. И мы часто с сестрой и братом

посылали ему с Митродорой разные сласти, чай, сахар, мед... Но почему-то мы сами не решались пойти к старику и, не слыша его голоса, боялись его слов, и, не встречая его взгляда, боялись этого взгляда. В нем было что-то таинственное, как и все, что лежало печатью тайны на всем Голубинском доме. Для нас он был символом чужой, таинственной жизни... Жили в доме господина Голубинские, уехали куда-то и из живых людей оставили в опустевшей усадьбе только одного старика, тихого, безмолвного и смиренного.

Так зло, но так правдиво люди прозвали его Прахом. И был он прахом былой крепостной жизни...

Таинственная история страшного Голубинского дома в повествованиях старой нянюшки Митродоры окрашивалась как-то особенно поэтически. Очевидно, она и сама плохо знала суть дела, но, будучи мастерицей на сказки-небылицы, и в эту сказку о Голубинском доме вплетала узоры своей наивной фантазии...

— ...А рассказывают, други мои, вот что про Голубинский дом... Были у старика Голубинского две дочки да сын. Сын, Митрий Аркадьич, офицером был, в Петербурге служил и при дворце государевым бывал. И дочки по зимам в столицу уезжали, а на лето опять в имение... А был старик Голубинский вдовый. По ночам Господу молился, а целыми днями своих крепостных мучил... как велось тогда и в других местах... Старшую дочку звали Аглаей, а младшую — Людмилочкой. И такая ли писаная красавица была эта самая Людмилочка, годков на пять помоложе своей сестрицы. Ну, а Аглаюшку Господь красотой не отметил — серенькая она была... Вот как-то летом приехал в имение Голубинское сын старика Митрий Аркадьич, а с ним и товарищ его приехал, тоже писаный... Охотники они были — страсть какие! А в Голубинских лесах в те поры и зверья всякого и дичи видимо-невидимо сколько водилось. А тут и вышло так, что обе дочки Голубинские — Аглая и Людмилочка — влюбились в столичного гостя. Обе так-таки и влюбились, а Аглая побольше, потому постарше была. А гость больше к красавице Людмилочке склонность имел, потому — красавица собою...

— Посватался гость-офицер за Людмилочку, а старик свое: «Нет, — говорит, — я сперва хочу старшую замуж отдать, а потом и младшую Людмилочку к венцу». — А барин приезжий на старшую-то и не глянет, не мила она ему, а с Людмилочки и глаз не сводит. Говорили-рядили они —отец с женихом — и ни до чего не договорились. А было это еще тогда, когда этого и дому не было... Не отдал старик младшей дочки-красавицы за приезжего барина и уехал он без голубки, голубок скучненький. Тут обе дочери — Аглая и Людмилочка — в тоску впали, загрустили-закручинились, по ночам не спали да все на дорожку поглядывали. А дорожка, известно, впотьмах — темненькая... Поскучали-поскучали сестрицы, а тут Аглая в монастырь женский ушла и постриг приняла, а Людмилочка на себя руки наложить хотела: выехала в лодке на середину пруда, да и с камнем в руках бух в воду!.. Ну, тут работники вынули барышню из воды, отходили-откачали ее сердешную. А старик Голубинский видит, дело плохо. Пишет сыну своему в Петербург: мол, так и так, Митрий Аркадьич, Аглаюшка в монастырь пошла и теперь уж небесная, Христова невеста стала, пусть уж товарищ-то твой вернется да Людмилочку и возьмет себе замуж. А сын, Митрий Аркадьич, и пишет старику: «Опоздал, мол, батюшка. Товарищ-то мой другую невесту себе выглядывал и сочетался законным браком». — Дело вышло совсем плохо. Стал тут старик Голубинский думать и гадать: как быть? За Людмилочкой глаз да глаз нужен, как бы опять руки на себя не наложила, уж больно грустна была и задумчива. И все, бывало, по ночам ходит по комнатам да все что то шепчет, а то подойдет к окну, темному, ночному, да и уставится в сад темный, либо в поле. Все кого-то поджидала. А тут и дворянка стала бояться барышни: уж больно страшно у ней выходит — весь день спит, а как ночь-то и бродит одна по комнатам и что-то шепчет. А то в сад выйдет, цветы рвет на клумбах, а с цветами-то к загроже подойдет, да и смотрит на дорогу темную, полевою... И с лица она стала страшная: щеки посерели и ввалились, глаза помутнели и большие стали, а нос совсем высох, как у птицы какой, острый да тонкий стал.

Тут видит старик: дело совсем уж плохо стало. Как, думает, отворотить мысли Людмилочки от ночей этих темных, да от ее задумчивости? Сломал в городе старый дом, еще от деда перешедший ему по наследству. Сломал старый дом и ну строить новый. Шибко строили дом, и в одно лето сбили великолепнейшие барские хоромы. Сколько, говорят, работников и мастеров разных было согнано, страсть. А хотел старик выстроить такой дом, чтобы весело было в нем жить. Комнаты светлые, большие да нарядные, а стены наружные приказал выкрасить в голубую краску, а известно, голубой цвет, что небесный — приятный для глаза. Выстроил дом и поселились в нем сам старик и дочка Людмилочка. А чтобы ей весело было, музыкантов старик купил у какого-то знакомого барина... Продавали, ведь, тогда людей-то!.. Вот, купил старик музыкантов и играли эти музыканты и день и ночь в доме голубом. А на хорах-то в зале большущую машину поставили, варганом называлась машина. А в уголку в зале и клавикорды из красного дерева поставили. Барыню из столицы выписали, а потом и еще барышню какую-то, чтобы обучилась Людмилочка и танцам разным, и музыку знала... И пошли тут в Голубинском дому на всю губернию балы разные, обеды да гульбища. И столько ли гостей у них в дому перебивало — страсть! И все больше молодые помещики наезжали, ну, барышни тоже бывали. Уж больно хотелось старику выдать дочку замуж, потому — все равно пропадет без мужа. Хоть и не с любимым, а все — муж!.. Идут веселья да балы, а Людмилочка, как была раньше, задумчивая да страшная, так и осталась. К ней женихи со всех сторон, а она никого и знать не хочет. Старик и так и сяк — уговаривает ее, потому сватались за Людмилочку понимающие женихи... Так и не вышла замуж Людмилочка, все того, старого, милого женишка поджидала. Говорит со всеми женихами, смеется, танцует, а как останется одна, дума к ней прежняя придет, и глаза помутнеют. А как ночь придет, и опять ходит Людмилочка по большому пустому залу, да все и говорит сама с собой, и в окно глядит и ждет кого-то... Так чахла все милая барышня, да изнывала...

А тут и такое дело вышло... Пришел в город какой-то монах старый, в Киево-Печерскую лавру пробирался из каких-то святых мест. Пришел монах в город и прямо в дом старика Голубинского. А старый барин уважал и духовенство, и монахов, к дочке своей Аглаюшке в монастырь не раз ездил. Пришел монах и обрадовался ему старый барин, а монах невеселые вести ему принес. Как пришел, так и стал старого барина пугать разными предчувствиями своими. А тут вышло, рассказывают, так. Подошел старый барин к монаху и говорит:

— Отец святой, праведный, пойди к дочке моей, благовости ее, помолись за нее вместе с ней. Совсем она у меня пропадает...

А монах ему в ответ:

— А чего ты, барин, дочку свою не попросишь помолиться? Она у тебя тоже в монастыре. Пусть за сестрицу и помолится.

— А разве ты, отец праведный, знаешь что про мою дочку Аглаюшку? — старый барин спрашивает.

— Знаю, — говорит монах, — в Сергиевском монастыре был, к чудотворной иконе прикладывался, а дочка твоя, помирски Аглаюшка, а по новому житию Серафимушка, и свечки мне подавала, и за тебя чтобы я молился, и за дочку твою, на миру погибающую... А тут она мне и про дочку твою Людмилочку все рассказала. Покаялась, как они обе одного человека полюбили. И будто Аглая-то, дочка твоя, до того ненавидела сестрицу, что смерти ей хотела. И будто подсыпала ей в чай порошки какие-то, чтобы извелась она. А та, как на грех, чай-то этот не пила, а все разливала. Один раз рукавом чашку задела — разлила. Другой раз хотела поставить на столик, да мимо столика ее и бух на пол... Увидела тут дочка твоя, на миру Аглаюшка, что Господь отводит от сестрицы преступную руку, и решила пойти в монастырь замаливать прегрешения свои...

— Отец праведный! — взмолился тут старый барин. — Уговори ты дочку мою Людмилочку, чтобы и она в монастырь шла и постриг приняла, потому все равно пропала она...



...Пошел монах в светелку-комнатку барышни и стал там с ней говорить. А старый барин у дверей стоит да слушает. Монах стал уговаривать Людмилочку, чтобы та в монастырь шла, а Людмилочка смеется монаху в лицо да этак, то язык монаху высунет, ту глазом подмигнет, а то глаза большие сделает, поднимет руки да к монаху... А пальцы у рук оттопырит, словно будто рога коровьи из пальцев делает, да на монаха, чтобы, значит, забодать его рогами-пальцами... А монах не испугался, стал на колени и ну молиться Господу перед образами. Монах Богу молится, а Людмилочка подобрала платье, да вокруг монаха кругом-кругом, в пляс непристойный и пустилась... Монах Богу молится, а она к нему бочком-бочком, руками за волосья трогает, поцелуйчики ему рукой делает, а сама хохочет... Вбежал тут старый барин в светелку девичью да как крикнет:

— Людмилочка!.. Господь с тобой...

...А она как завизжит да еще больше и ну кружиться... Тут уж и сам старик упал на колени и тоже начал молиться. Барин и монах Богу молятся, земные поклоны кладут, а Людмилочка вокруг них непристойные плясы отплясывает, взвизгивает да хохочет, как ведьма настоящая... А потом опять как взвизгнула да как ударится о пол и ну кататься по полу, и ну визжать да хохотать. А у рта у нее пена бу-у-у-рая, а глаза и совсем выскочить хотят...



... Уложили ее в кроватку и успокоили... Все подушку грызла и пеной изо рта брызгала... А тут и заснула да целые двое суток и проспала... И стал барин уговаривать мо-

наха, чтобы тот остался и еще о спасении дочки помолился, потому все думали: уж коли она заснула, значит, за двое суток порча из нее выйтить должна... А тут монах старый и говорит барину:

— Вот что, — говорит монах, — приключилось: одну твою дочку Христос своей невестой сделал, а другую дочку ты человеку не хотел отдать в невесты. Человеку ее в невесты не отдал, к Христу в невесты она сама не захотела. Вот ее черт своей невестой и сделал. Теперь она — чертова невеста. И я тут ничем помочь не могу, и никто не поможет...

...Ну, все же прожил монах у барина в доме два дня и две ночи и все молился, не отчаивался спасти девушку... Монах Богу молится, а Людмилочка по большому залу ходит, все что-то говорит про себя, а потом вдруг как захохочет. А потом вдруг как пустится по залу волчком и ну плясать и платице свое подбирать...

...А тут монах и говорит барину:

— Было у меня видение: ровно через тридцать три зари и тридцать три восхода солнышка умрет твоя дочка и уж совсем с чертом повенчается... А уж после этого тебе, барин, в этом доме не жить, потому нечистый со своей невестой в нем поселится...

...Ушел монах... Прошли-пробудились тридцать три зари. Тридцать три раза солнышко вставало, а перед тридцать четвертой зарей Людмилочка руки на себя наложила. Висела в зале огромная люстра из темной бронзы, с голенькими купидончиками да разными птицами длинноносыми... Зацепила она за люстру веревочку, тоненькую, и удавилась... Чуть живого выволокли барина из залы, в постельку уложили, за сыном в Петербург нарочного послали... Схоронили Людмилочку честь-честью, по-барски: отпели, священники в белых ризах панихиды служили. В голубой гроб Людмилочку положили: потому — девушкой умерла. А на кладбище и крест поставили, все как следует... А тут случилось так: с самых похорон дочери старый барин с постели не встал, все лежал с закрытыми глазами да шептал что-то... А сын Митрий Аркадьич из столицы приехал, он и сына не признал, а дня через два и умер...

...Схоронил молодой барин старого, запер дом, оставил дворовых людей богатство караулить, а сам уехал... Тут и началась в Голубинском доме бесовщина. Как ночь наступит, так и запоет-зазоет на хорах зала машина. И на клавикордах кто-то бренчит, играет. И слышат люди дворовые, будто кто-то всю ночь пляшет в зале да хохочет под дьявольскую музыку... А тут люди дворовые и ночи спать стали бояться в дому дьявольском, а тут уж и днем их в дом не загонишь... А была зима, и печей не топили. Пошла по стенам сырость, мыши развелись, грибы на дорогих штофных обоях выросли... Пишут люди дворовые барину в Петербург: так и так, мол, жить нельзя в дому, бесы поселились. А барин грозный приказ: сторожить мое добро, печи топить каждый день, убирать комнаты, будто я в них живу... А не будете этого приказа исполнять — всех заперю!..

...По весне приехал молодой барин в дом отца и жену с собою молодую привез. Приехал в дом с голубиной окраской и всю дворню на конюшне перепорол, только одного Пахома и помиловал, потому лошади и экипажи разные у него были в порядке, и сбруя вся в сохранности и в исправности. А тех всех перепорол, а главного дворецкого послал к себе в имение, в деревню, и сделал его младшим конюхом...

...Поселился молодой барин в голубом дому и все лето прожил ничего, а потом и на зиму в городе остался. А перед Рождеством у его жены и дочка родилась... И что бы вы думали, други мои, в ту же ночь... Дочка вечером родилась, а в полночь по всему дому такой гул и гуд пошел, что хоть святых выноси... В большом зале на хорах машина заиграла, в клавикорды забренчали и пляс такой поднялся... Пляс, хохот да виззиги... Барин было с револьвером к двери. Торк в одну дверь — на запоре. Торк в другую — и другая не отпирается. А в зале все пляс, хохот да крики. На другую ночь — то же и на третью — визг, хохот да музыка в большом зале..

...В постели молодая барыня лежала от родильной болести, а и ее пришлось из дому на носилках вынести... И уехал барин в чужой дом... А весна пришла и всю мебель и вещи разные к себе в имение вывез. А там и конюшни и ка-

ретники сломали и тоже увезли. И остался жить в старой хибарке старик Пахом, что Прахом назывался... А в Голубинском доме чертова невеста поселилась.

**Павел Белецкий**

# **ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ**

(Легенда)

От Оптиной пустыни, расположенной под Козельском и основанной покаявшимся разбойником Оптой, по направлению к Лихвину на много верст тянется старый и дремучий лес.

И немало чудесного творилось в старину в его дебрях. Без слов рассказывает лес-старик чудные сказки о тех далеких временах, когда сам он сам был еще молод и когда на русской земле совершались дела, ныне неведомые и неизвестные.

Не знаю, заповедный ли голос тайны, воплощенный старым бором, подсказал людям легенду о Чертовом городище и судьбе разбойничьей дочери-красавицы Любаши, или на самом деле все это было, — не знаю. Только крестьянские ребятишки, — этот любопытнейший в мире народ, — выгоня иногда лошадей «в ночное» далеко от своей, затерявшейся среди леса деревеньки к «страшному месту», в полночный час улавливают чутким ухом своим нечто такое, отчего потом до рассвета трясутся, как осиновые листья, плотным кольцом охватывая сторожевой костер, боясь даже перегляднуться между собой, и всем существом своих маленьких, хрупких и хилых телец ощущая ужас замогильного голоса, щемящего душу невыразимой, нечеловеческой тоской...

«Страшное место» это находится на полпути между Оптиной пустыней и Лихвином, в стороне от проезжей дороги. Это высокий, одиноко стоящий среди леса холм, у подножия которого, на дне оврага, журчит хрустально-чистый, как слезы матери, ручей.

На вершине холма высится диковинный, полуразрушенный замок, медленно всасываемый землю в свои темные недра. Нижний этаж наполовину уже скрылся, а верхний представляет собою одни стены — неровные, полуразвалившиеся и на диво сложенные из громадных кусков нецементированного камня.

Крыши над собой этот замок никогда не видал, и постройка его, по всей видимости, остановлена была до превращения в человеческое жилище, и остановлена настолько спешно, что даже втащенный на холм строительный мате-

риал остался неиспользованным и был брошен на произвол судьбы.

Смотрят люди на это удивительное здание и дивятся — не тому, кто и как строил его, а тому, откуда взялись здесь эти каменные глыбы.

Впрочем, дивятся те, кто не знает легенды или не верит народной молве об истории замка, а молва эта, многие века переходящая из рода в род и внушающая ужас к «страшному месту», гласит так.

Жил некогда в этом лесу хозяин холма, знаменитый разбойник Кудияр. Много он крови человеческой пролил на своем веку, много богатства разного награбил от проезжих купцов и бояр, но веселья ему настоящего не было. Жил он в роскоши и в довольстве со своею шайкой, тешил буйное сердце удалыми набегами, но тоски душевной изжить не мог... И вот приглянулась ему молодая красавица, боярская жена. Затосковал еще пуще разбойник и порешил увезти к себе в лесной притон, на усладу и потеху, ту красавицу-боярыню, а порешив — и добился своего.

Вихрем налетел он ночью темной на боярское гнездо, разграбил со своими удальцами поместье, челядь разогнал, а боярыню похитил от мужа и был таков.

Никто не решился преследовать грозного Кудияра, да никто и не знал, где искать его. Места были тогда на Руси глухие, вольные, леса непроходимые и на сотню верст можно было не встретить ни одного жилища.

Противилась ли вначале, или нет, молодая боярыня ласкам отпетого разбойника-атамана, но только потом свыклась и стала ему вместо жены. И родилась у них дочь — красавица Любаша.

Больше жизни любил Кудияр свое детище и пуще зеницы берег и холил ее. А Любаша росла на приволье и с каждым днем хорошела.

Ровно королевна, жила она среди леса дремучего, и все разбойники-сподвижники отца были ей покорными рабами. Слово ее было для всех законом, не исключая отца, удалого Кудияра.

День за днем, год за годом, выросла Любаша и стала девицей — писаной красавицей. Высокая, дородная и, словно тополь, стройная. Коса темная прямо до земли; очи ясные — словно море синее, дна не увидишь; брови тонкие — шнурком загибаются; на лице белом румянец — что твоя зорька алая. А выступала Любушка — ни дать, ни взять — лебедь белая.

Но еще больше поражала всех красавица лесная, разбойничья дочь, умом своим и добротой сердечною.

Время шло и стали подумывать отец с матерью, что не для себя они дочку вырастили, что придется для нее и жениха подыскивать, а сделать это — не то, что сказать. Самим им на люди из своего вертепа не идти, а к ним ни для кого нет дороги, а кто подвертывается — не возвращается живым... Оставались только свои братья-разбойники, но разве для них была такая невеста?!...

Раздумывали они об этом долго, прикидывали умом и так и этак, но придумать ничего не могли, а тут вдруг и само собой все сделалось.

Невесть откуда явился однажды к Кудияру вечерней порой неведомый гость. Подкатил он на тройке таких коней, что бывалый атаман-разбойник и не видывал, — львы, а не кони, а сбруя на них чистым золотом переливается. Кучер одет в парчовый халат, телега серебром окована, а сам седок — молодец-молодцом.

Кудияр даже опешил от удивления и не знал, как встречать посетителя, добровольно явившегося к и чему, да еще с таким богатством, но удивление его еще больше возросло, когда гость весело и беспечно поздоровался с хозяином, приказав бросить для него в подарок из телеги мешки с золотом и самоцветными камнями, пообещав при этом привезти еще больше, если Кудияр примет его как гостя, выслушает его просьбу и уважит ее.

Согласие немедленно было дано и через короткое время гость с хозяином сидели уже за столом, уставленным заморскими винами, русской брагой и обильною снедью.

Не назывался гость, откуда он и как зовут его, но сказался богатым купцом и прямо повел речь о том, что мно-

го уже слышался про красу Любаши, без которой жизнь не в жизнь, и вот теперь приехал свататься за нее.

Смерил Кудияр жениха с головы до ног, повернул его взад и вперед и видит, что впрямь лучшего мужа для дочери не сыскать. Не говоря уже про богатства его безмерные, за которыми Кудияр не больно и гнался теперь, но и сам он был пригож на славу. В плечах — косая сажень, ростом — богатырь, очи — соколиные, брони — соболем подпушены, а на молодом лице — кровь с молоком играет. Что же касается отваги в нем молодецкой — то и говорить не приходится: сам не побоялся пожаловать к нему.

Тут же позвал Кудияр дочь, указал ей на гостя и спрашивает: люб ли ей будет такой жених?

Не зарделась Любаша цветом маковым, не потупила глаза свои долу, не взволновалась стыдом девичьим, а выпрямилась гордо, блеснула острым взором по жениху, повела бровью тонкой и, сказав, что наутро даст ответ, вышла из горницы...

Удивился Кудияр, что дочь его даже над таким женихом раздумывает, но перечить ей он не привык. Удивился и гость, но тоже ни слова не вымолвил, а вслед за тем сел на тройку и уехал.

Наутро все в притоне с нетерпением ждали приезда жениха, как будто бы ждала и Любаша, но тот не приехал. Кудияр подумал уже, что он обиделся и вовсе не вернется больше. Упрекнул было впервые своевольную дочь свою, что не в меру разборчива, но та только улыбнулась на упрек отца как-то диковинно и сказала, что вечером будет, что не рука *такому* гостю при свете дня ездить, а что кони его и без дороги везде проедут.

Кудияр даже опешил от загадочной речи дочери, и хотя в толк ничего не взял, но расспрашивать больше не стал и порешил дожидаться вечера: верно ли молвила она?

И, действительно, как только закатилось солнце за землю и на небе заблестели звезды — жених тут как тут. Подарков разных будущему тестю еще больше навез, а невесте — прямо царский убор.

На этот раз он и к столу присесть не хотел, не получив вперед ответа на сватовство свое, а Любаша. ровно не слыша слов его, спрашивает, почему запоздал, почему днем не припожаловал?

Жениху, видимо было, расспросы эти не по душе пришлись, и он сослался на недосуг, на дорогу дальнюю, а Любаша только улыбнулась хитро и вышла вон.

Отец бросился за нею и стал уговаривать, чтоб не отказалась от редкого жениха, а она и посмотрела пристально так и говорит:

— Я только тогда замуж за него пойду, если он сумеет вон на том нашем холме к утру дворец для меня выстроить. Иди и передай ему эти мои последние слова.

Кудияр ста было спорить с дочерью.

Шуточное ли дело: за одну ночь дворец построить. Да еще когда ни материала, ни рабочих нет?

Но та стояла на своем:

— Иди и скажи...

Пошел он, грустный, к жениху и передал ему слова Любаша, думая, что тот за насмешку все примет, обидится и уедет совсем; но жених только ухмыльнулся себе в ус, тряхнул кудрями и, сказав: «Будет по ее желанию», скрылся из горницы.

Через минуту в лесу поднялся такой шум и гул, что верст на пять кругом слышно было. Откуда ни взялось видимо-невидимо рабочих, из воздуха нападали целые горы камня, и работа закипела.

Разбойники перепугались насмерть и, вместе с атаманом своим, запрятались в тайное подземелье, дрожа там, словно в лихорадке, а Любаша хоть бы что, как ни в чем не бывало. Ходит себе около притона отца и посматривает, что делается на холме. А потом, когда фундамент был окончен и приступили к постройке стен, она захватила в передник приготовленного заранее петуха, тихонько прокралась к берегу ручейка, что под самым холмом, и спряталась там в кустах.

Постройка подвигалась быстро. Каждый рабочий поднимал камни в сотню пудов и, как перышко, переносил их на-

верх.

Вот уже один этаж готов, а вот и другой. Поделали и внутри стены, оставалось только крышу покрыть.

Видит Любаша, что время уже подходит, медлить больше нельзя и, быстро сорвав с шеи крест, придавили в руках петуха. Как только тот закричал свое «ку-ка-ре-ку», разом началось что-то непонятное и страшное. С визгом закружился воздух кругом, ухнул и застонал лес, застыл и остановился ручей и даже как будто земля зашаталась. Мигом все рабочие провалились сквозь землю. Провалился и жених, руководивший работами, но прежде, чем исчезнуть под землю, он успел проклясть обманувшую его невесту, а та не спохватилась и не могла сразу после петушиного крика накинуть на себя крест, в суматохе потерявшийся.

Не вернулась больше Любаша домой и никто нигде ее с тех пор не видел. Постройка, как была возведена, так и осталась и камни лежат, где кто их бросил в последний момент. Только Любашиных следов никаких не осталось.

Говорят старые люди, что и она и провалилась от проклятия страшного жениха, так как вовремя не укрылась тогда крестом и не освятила им в себе грешную родительскую кровь. Говорят также, что ее именно голос стонет теперь в полночный час около проклятого замка, убиваясь в тоске смертной, прося о спасении и наводя ужас на людей, боящихся по ночам даже близко подходить к страшному месту, прозванному Чертовым городищем.

Существует в народе поверье, что если кто из мужчин, чистых сердцем, храбрых русских витязей, отважится в час полуночи подойти к скрытой могиле Любаши на стонущий голос ее и, когда она покажется из-под земли, накинет ей на шею потерявшийся крест, тому и владеть дивной Любашиной красотой. Но до сих пор такого витязя-храбреца на Святой Руси не отыскалось и пресветлая, чистая красота — правда, воплощенная в грешное тело заколдованной Любаши, — никем не вызволяется на привольный простор, а стонет и убивается в тяжком заточении о потерянной жизни....

**Виктор Севский**

# **ИГНАТОВ БУГОР**

Донская легенда

Илл. Ф. Коварского



## ИГНАТОВЪ БУТОРЪ

ДОНСКАЯ ЛЕГЕНДА



Давно это было...

Из донских Раздор мимо азовских стен темными ночами пробирались на долбленках в море донские казаки. Мимо шуршащих камышей тихо пробирались в открытое море и шарили около берегов турецких. Встретится в море турецкий купец и не ждет пощады. И ковры, и золото, и самоцветные камни складывались на дно большой атаманской лодки и сплавляли в родные Раздоры и другие станицы, приютившиеся у задумчивого Тихого Дона. Удал был старый казак Казан. Знал он прекрасно турецкие берега, знал богатые села турецкие и не раз он побывал в самом Синопе, что шумел и гремел на все Черное море. Много казаков за Казаном ходило. Знали, кому голову доверить. Стоило ему гукнуть, как загремят весла на Дону и поползут по реке углые лодочки. Стар был Василий Казан, но не было морщин на его лице. Только шрамы одни. Да ведь шрамы не в счет, со шрамами на майдане заметнее будешь. Бороду брил Василий, но в усах, черными жгутами лежавшими на губе, вилась седина. Как-то сказал Василий старому раздорскому попу:

— Хочу на ризу Богородице жемчугов привезти.

Знает поп Василия. Грозит пальцем:

— Али за Зулейкой соскучился?

— Много их у меня было, было из-за одной лицо морщить. Что скучать за одной, коли другие еще будут.



Сказал Василий, что попутчиков ищет. Зашумела улица. Пестрой толпой спустились к реке.

— Едем!

Взглянул Василий на попутчиков.

— Хватит ли золота на всех молодцов?

— Не хватит — еще съездим.

— И ты, Игнат, едешь?

— Еду, Василий Данилыч.

— А Марья не плачет?

— Девичьи слезы — роса, больше в Дону воды будет.

— Ладно, дело твое.

Перекрестил поп уходящие лодки и пошел домой.

— Ой, иссохнет девка за Игнатом, — сокрушался старый казак. — Много ихней сестры видал, все одинаковы, что турецкие, что полячки, что татарва проклятая — слезы льют ручьями, любят нашего брата жарко. Но Марья Игнатова всех превзошла. От Бога такая любовь.

Хмурится Игнат. Тревожит его сердце атаман, жжет своими словами. И поехал он ради Марьи, чтобы были у нее перстни золотые с зелеными камнями, чтобы были у нее сережки аметистовые.

— Пойте, ребяташки, пока мимо родных мест проплываем. Дальше к турецким берегам приумолкните, — не спят басурмане, смотрят глазами зоркими за рекой и за камышами: не покажется ли лодка казачья?

Поют казаки. Кланяются им вербы старые встречные, ласково шепчет и приветливо побережный камыш, птица небесная славит их удаль казачью.

Щедрую добычу море послало казакам. Везли купцы турецкие в Азов и шали прекрасные, и ковры пушистые с разводами по зеленому полю, а камней разноцветных и не счесть. Черпает воду атаманская лодка, добычей груженная. Вот-вот затонет. Но не камням рад атаман, не коврам заморским, а красавице-дочке паши синопского, что ехала в Азов к знатному дяде. Не для Василия Казана она наряжалась. Не для Василия тело нежное холила и чадрую лицо от лучей солнечных и мужских взглядов закрывала. А досталась Василию. Увидал ее Василий и за ус черный с седым волосом на подуснике взялся.

— Отплывайте, ребяташки, в родные Раздоры. Жемчуга и аметисты лучше попу на церковь отдайте, пейте и атамана вспоминайте. Погуляет он с турчанкой и воротится домой.

— Опасно, атаман, как бы тебе из-за басурманки не погибнуть.

Видывал виды Василий Казан и знает, как с турчанкой обращаться.

— Больше ночи не стану валандаться! Я на берег с ней сойду, а Игнат меня в лодке подождет.



Тихо ударили веслами казаки и уплыли. Снес старый Василий на берег турчанку, остался Игнат в лодке.

Долго лежал на ковре Игнат и на небо глядел. Звезды считал и Марью вспоминал. Заснул. Целовала его луна в уста бархатные. Пробралась в густые камыши и ласкает Игната. Колышется грудь казачья молодая. Чудится, будто Марья целует и по лицу нежной гладит рукой. А когда луна ушла за голубые тучи и солнце раннее показалось, проснулся Игнат. Долгая ночь атаманская. Не натешился при луне, надо ему и солнце позвать в свидетели своей радости. Сошел на берег Игнат, из камышей выбирается. Ступает тихо, чтобы не спугнуть любовь атаманскую. Вышел в луг и по траве высокой зеленой идет. Слышит стоны, близкие и знакомые.

— Никак атаман стонет!

Подошел к вербе одинокой, старой, дупливой. Видит, сидит атаман, опустив голову.

— Василий Данилыч! Что с тобой?

— Ты, что ли, Игнат?

— Я, Василий Данилыч. Простите, что потревожил вас и от лодки уйти осмелился. На стоны ваши пришел.

— Спасибо, Игнат, спасибо! Пропал бы я без тебя собачьей смертью. Ты посмотри на своего атамана!

Нагнулся Игнат и отпрянул назад. Вместо глаз у Василия кровавые пятна, кровь запеклась в глазных впадинах.

— Турки ночью пробрались по берегу и поймали меня. Отняли девку, а мне кинжалом глаза выкололи. Отомстил Гасан-Али, отвел свою душу за любимую жену. Старые у нас с ним были счёты!



— Что же делать-то будем, атаман? — спросил Игнат.

— Есть у меня к тебе просьба великая. Отвези меня под Раздоры, Игнат, и оставь на бугре. Посижу я на нем, воздухом степным надышусь я, звон колокольный послушаю да брошусь на сердце к бабушке Дону. Он меня похоронит!

— Ехали бы в Раздоры, Василий Данилыч. Мы бы тебя, атамана нашего, покоили, а потом сели бы в лодки и отомстили туркам за обиду твою.

— Стыдно, Игнат, мне в Раздоры ворочаться. Засмеют старые казаки. Скажут, из-за девки света не видит старый Василий Казан.

Вырезал Игнат посох Василию и довел до лодки. Обмыл ему лицо, завязал чистою тряпкою и на весла сел. Плыли день, плыли два и на третий показался бугор, что около Раз-



дор высится. Зеленеет бугор, как коврами, травой устланный. Слезли с лодки и пошли на бугор. Сел Василий Казан на бугре и к звону колокольному, что ветер из близких Раздор приносит, прислушивается. Плачет старый атаман. Оставил его Игнат одного, сам в сторонку отошел. Следит за слепцом. Видит, вдруг поднялся атаман, посохом впереди себя шарит и к обрыву идет. Подошел, к ропоту волн речных прислушивается. Водит посохом над бездной.

«Смерть принять решил атаман», — подумал Игнат и на ноги поднялся.

Отошел атаман от края, Игнат его спрашивает:

— Али смерти боишься, Василий Данилыч? Кажись, не срамили тебя сабли турецкие, не пугали пули каленые!

— Страшную смерть Господь Казану посылает за его преступления!

Отошел опять Игнат в сторону. Снова к краю пошел Василий Казан. Твердо ступает, шарит край своим посохом. Расступается трава, сочувствует слепому атаману. Дошел до края и остановился Казан.

Повел посохом по бездне и назад повернул. Глубоко вздохнул Игнат. Пропала доблесть казачья. Слеп атаман и за жизнь цепляется. Встал Игнат на твердые ноги, помолился на церковные главы далекие, шепнул:

— Прости, Марья, за святое рыцарство душу свою молодую отдаю. Вместе с атаманом погибну, зато будет вечно жить казачья удаля. Давай руку, помогу, Василий Данилыч!

Обрадовался слепец, плачет:

— Понял душу мою, Игнатушка. Самого себя, ради моей подлой души, в жертву приносишь. Марья-то как будет!

Отдернул, было, руку Игнат. Вспомнились Марьины глаза и губы сладкие. Но минуту, не больше, это продолжалось. Снова Василий почувял близко руку Игнатову.

— Идем, атаман! Обопрись на меня, Василий Данилыч!

Вместе подошли к обрыву бугра, вместе шаг последний сделали.

— Прощай, Игнат, — крикнул Василий.

«Про...» — ответило эхо далекое. Расступились волны донские, закипели, запенились. Схоронили атамана Василия и молодого казака Игната.

. . . . .

Бурлит под бугром омут глубокий. Дна в том омуте не достанешь. Речной пароход медленно проходит под бугром в тихую ночь. Если взглянет из-за туч луна, она осветит две фигуры на высоком бугре. То казак Василий с Игнатом

к краю подходят. Днем они в ветлы седые превращаются.  
Днем ведь солнце палит, печет!



**Николай Карпов**

**КОЛДУНЬЯ**

Павел медленно шел по порубу узенькой, поросшей кудрявой муравой дорожки, которая вела к крупному лесу. Желтый Султан, помесь дворняжки с гончей, шнырял по кустам, обнюхивая траву, выбегал на дорожку и снова с треском скрывался в густой зелени поруба. Лесник, по привычке, прислушивался к лесным шорохам, и ухо его различало и резкое постукивание дятла, доносившееся из крупного леса, и монотонное жужжанье насекомых в зеленой траве, и предвечернюю болтовню дроздов на опушке. На краю оврага, отделявшего крупный лес от поруба, Павел услышал сердитое ворчали Султана и, переложив берданку из правой руки в левую, бросился в овраг, цепляясь за ветки свободной рукой. Впереди затрещали кусты, и навстречу ему вышла молодая высокая баба в красном ситцевом сарафане и белом платке. Смуглое, с большими карими глазами и вздернутым носом, лицо ее было угрюмо, бледные бескровные губы были плотно сжаты. Подол ее красного сарафана был высоко подоткнут, из-под него виднелась белая домотканая рубаха.

Павел остановился, отозвал собаку и строго сказал:

— Ты чего здесь шатаешься?

Баба спокойно взглянула на медную бляху на его сером кафтане; перевела взгляд на медного орла на его шапке и, сунув пучок травы в подол, тихо ответила:

— Травы собираю... А ты аль испугался, думаешь, чай, все твои ягоды унесу? Мне, милый, ни твоих ягод, ни грибов не надобно... — и она улыбнулась, сверкнув белыми зубами...

Лесник сердито взглянул на нее: он привык видеть у баб, которых заставлял в лесу без билета, испуганные лица и молящие взгляды.

— А билет у тебя есть? Без билета по лесу ходить не полагается.. Возьму вот, да представлю тебя на кордон к объездчику...

— Аль тебе травы жалко, сам ее сеял, што ль? Аль сам ее будешь жрать, траву-то? — насмешливо заговорила баба, поправляя загорелой рукой на голове платок.

— Убирайся из леса — и весь сказ... Еще разговаривает! Иди, добром говорю... — сказал Павел и с угрожающим видом сделал шаг вперед.

Баба взглянула ему прямо в глаза холодными карими глазами, выбросила из подола пучок травы и, повернувшись, пошла по тропинке из оврага.

Лесник молча пошел за ней, вышел из оврага и, провожал ее глазами, остановился у опушки. Баба перепрыгнула через канаву, отделявшую казенный лес от крестьянского поля, перешла узенькую полоску темного пара, вышла на дорогу, ведущую к селу и, повернувшись к леснику, звенящим голосом крикнула:

— Погоди-ты, черт комолый, ты меня попомнишь! Травы тебе стало... жалко? Лихоманка тебе в ребра, идол толсто-рожий. Погоди, я те покажу!..

— Ведьма проклятая, — пробормотал Павел и, вскинув берданку за плечи, зашагал к кордону.

Дома, вешая ружье на гвоздь, он сказал жене:

— Знаешь, Варька, кого я встретил в лесу-то? Агашку-знахарку...

— Да ну? — и Варька выжидательно посмотрела на него.

— Травы какие-то собирала... — продолжал Павел, сядя за дубовый стол, — да я ее прогнал к черту... Грозилась, лихоманку сулила, проклятая...

— Зря это ты, Паша... — тихо сказала Варька, громыхая в печке ухватом, — и взаправду напустит... Шут с ней, пускай бы собирала траву, ай ее мало в лесу-то...

— Много ты понимаешь! — раздраженно вскричал Павел. — Рази я могу позволять, штобы без билета по лесу шлялись? Для чего я здесь приставлен? Для охраны! Ну, то-то и оно... Давай ужинать, пора... — прибавил он уже спокойнее.

Варька подала на стол чашку со щами, ложки и краюху хлеба.

Несколько минут они молча хлебали щи.

— Не могу я дозволить, штобы по лесу шлялись... — заговорил снова Павел, словно оправдываясь. — А может, она пришла лыки драть, бес ее знает... А я за все в ответе...

— А все-таки зря ты ее обидел... — упрямо повторила Варька,— она может тебе всякую пакость устроить... Слышал, чай, как она Васьки Бубнова мальчонку испортила? Пришла, вишь ты, она к Ваське за картошкой; он ее прогнал да еще обругал черным словом. Она ему пригрозила, а к вечеру мальчонка его весь в жару мечется, анчутки ему представляются.. Беспременно, она наслала... А у Микишиных сразу обе коровы сдохли, так тоже, говорят, она подстроила... Сердита она была на них...

— Мало ли што болтают, стану я всякие бабьи рассказы ни слушать! — вскричал Павел и встал из-за стола.

Варька убирала посуду.

— Надоть Султану хлеба бросить... — сказал Павел и вышел из избы. Он сел на бревно у завалины, бросил собаке хлеб и, свернув сигарку, закурил. В нем нарастала какая-то смутная тревога, предчувствие какого-то неизбежного несчастья, в глубине души он уже раскаивался, что обидел Агашку. Ночью, лежа на нарах рядом с женой, он ворочался с боку на бок, вздыхал и не миг заснуть. Неотвязная мысль, что колдунья отомстит, как назойливый комар, не дала ему заснуть до рассвета. А на дворе неистово лаял Султан и со злобным ворчаньем бросался в лес, но Павел не решался выйти из избы и взглянуть в темноту.

Рано утром, невыспавшийся и злой, Павел пошел в обход и вернулся к обеду мрачный, как туча.

— Аль порубку нашел? — робко спросила Варька, собирая обедать .

— Не хочется... — неохотно ответил Павел. — В груди сосет што-то...

Варька испуганно взглянула на него, взгляды их встретились, и Павел насупился.

— Беспременно это она, проклятая... — плачущим голосом вслух dokonчила свою мысль Варька.

Павел молча, с усилием, прожевывал хлеб, пища не шла ему в горло, руки его стали словно деревянные, он испытывал странную безотчетную тоску, делавшую его тело вялым.

После обеда он долго лежал на нарах, потом встал и стал надевать кафтан..

— Аль в обход? Не ходил бы уж, коли нездоровится... — сказала Варька.

— На село пойду... Табаку нужно купить... — тихо ответил Павел и вышел из избы. Султан радостно бросился ему навстречу, но он схватил его за ременный ошейник, запер в сенях и пошел по дороге к селу.

Через час он сидел в избе бабки Луканихи, торговавшей тайно водкой.

Маленький огарок сальной свечки тускло освещал закоптелые стены избы и блестел на зеленоватой бутылке и на образах в переднем углу. Двое белоголовых ребятишек, прячась за печку, с любопытством смотрели на гостя. Павелпил теплую, противную на вкус водку, закусывал солеными огурцами и говорил бабке Луканихе, маленькой старухе со сморщенным лицом, напоминавшим печеное яблоко:

— Скушно мне, бабка Луканиха, так скушно, что и белый свет не мил... Оттого и лью... Да и недужится што-то...

— С чего бы это? Мужик ты здоровый... — удивлялась бабка Луканиха, подперев ладонью щеку и с сочувствием смотря на гостя. — Может, в жару холодной воды испил? Может, лихоманка?

— Нет, бабка, не лихоманка... — уныло ответил Павел, — в груди сосет... И хворь эта отчего — знаю... Вчерась я Агашку турнул из лесу, так это она, проклятая...

— Вестимо, она... — согласилась Луканиха, сочувственно кивая головой. — А ты бы, касатик, к ней наведался, да поклонился бы ей, ведьме, может, и снимет хворь-то?

— Штобы я к ней с поклоном пошел! — вскричал захмелевший Павел, ударяя ребром руки по столу. — Да лучше я ей, ведьме, башку разобью... Подохну, а не пойду!..

Расплатившись с Луканихой, Павел вышел из избы и пошел по селу.

Павел вышел из околицы и направился к лесу, но внезапная мысль, что ему придется идти темной чащей, заставила его остановиться и повернуть назад. Сосущая боль в

груди усиливалась, он почти задыхался, чувствовал тупой страх и странную жалость к самому себе. У околицы он решил пойти к Агашке.

— Шут с ней, поклонюсь, голова не отвалится... — думал он, — уж ли ж пропадать ни за что?

Изба Агашки стояла в лощине, довольно далеко от прочих изб.

Павел отворил дверь и робко вошел в избу, освещенную тусклым светом жестяной лампочки, подвешенной к стене. Под низким потолком висели на мочальных бечевках пучки сухих трав, в переднем углу вместо образов несколько серых заячьих шкурок. Агашка сидела за столом без платка и среди черных растрепанных волос лицо ее казалось особенно бледным.

— Ну, чего тебе ночью понадобилось? — сурово спросила она. — Вчерась в лесу травы для меня пожалел, а нынче в гости... Соскучился, што ли?.. Садись уж, коли пришел...

— Да я ведь, ей-Богу, ничего, Агаша, — тихо заговорил Павел, опускаясь на лавку и робко косясь на кота. — По мне, хошь каждый день ходи в лес... Дело наше подневольное, за все в ответе... Закон — положенье такое, штобы в лесу без билета не ходить... А теперь, значит, ходи в лес слободно... Мой ответ...

— Што же это ты сразу такой добрый стал? — усмехнулась Агашка. — За этим только и пришел, штобы сказать?

— Дело есть, Агаша, — глухо сказал Павел, опустив голову, — занедужил я... Вылечи, сделай милость, што хош проси...

Агашка несколько секунд внимательно смотрела на него.

— Ну, шут с тобой, — весело заговорила она, потрянув волосами. — Вылечу... Говори, што у тебя болит-то?

— В груди сосет... Дышать трудно, да и скушно как-то...

— Постой...

Агашка подошла к нему и, наклонив свое бледное лицо к его лицу, тихо сказала:

— Раскрой рот, да дыхни на меня...

Павел открыл рот.

— Венищем пахнешь... — брезгливо сморщилась Агашка. — Дыхни-ка еще...

Павел широко открыл рот и с усилием стал дышать.

— Ну, парень, плохи твои дела, — зловещим тоном заговорила колдунья, — жабий дух я учуяла... Жаба у тебя в груди-то, вот што я тебе скажу...

— Жаба? — упавшим голосом спросил Павел. — С чего бы это?

— А, может, с водой как-нибудь попала, аль в лесу, когда спал, в рот залезла. Это бывает.

Павел дрожал от страха, как в лихорадке, чувствуя, что в груди, действительно, что-то шевелится.

— Как же, Агаша? Аль нельзя выгнать ее, проклятую? — плачущим голосом спросил он. — Вылечи, Агаша... Чем хошь убогаторю...

— Вылечить-то можно, нужно только жабьей травы в лесу достать... В лес идти надо...

— Сходи, Агаша, сделай милость... Я хоть целую ночь тут буду ждать...

— Нет, так не годится... И ты должен со мной в лес пойти, а то ничего не выйдет... — сказала Агашка.

— Куда хошь, пойду, только вылечи!.. — вскричал обрадованный Павел.

— Только чур, уговор — не робеть, да слушаться меня... Да крестними, не годится с крестом на такое дело идти...

Павел расстегнул ворот рубахи, оборвал пальцами гайтан и положил крест на стол.

В лесной тишине отчетливо слышался каждый треск сучка, каждый шелест травы. Порой в темной гуще ветвей вздрагивал сыч и с пугливым стоном махал крыльями, осыпая на головы идущих мелкие сучья и сухие листья, порой в кустах фыркал и шуршал листвою еж, и Павел вздрагивал от страха. Ему чудилось, что из-за кустов ему кивают головами какие-то странные существа с звериными мордами и высунутыми дрожащими языками. Впереди его белели рукава Агашки и слышался треск сучьев под ее ногами. Лес стал редеть, они вошли в поруб. Агашка остановилась и, шепнув Павлу: — Стой тут... — стала собирать в кучу сухой ва-

лежник. Потом она нагнулась над кучей, чиркнула спичкой, алый огонек побежал по веткам.

Агашка закужилась вокруг костра, как-то странно подпрыгивая и размахивая руками, сарафан ее раздувался от быстрых движений, волосы растрепались, на лице ее, красном от огня, дико блестели карие глаза. Павел со страхом смотрел на нее и дрожал, как в лихорадке. Наконец, Агашка остановилась, вынула из-за пазухи темную тряпицу и бросила ее в огонь. Черный едкий дым ударил в лицо Павла, он закрыл глаза и невольно отшатнулся в сторону. Открыв глаза снова, он еле сдержал дикий крик ужаса: на пне против костра сидело, скорчившись, какое-то странное существо с темным голым телом, смуглым лбом, напоминавшим козлиную морду, и с костлявыми длинными ногами, на которых Павел ясно различил небольшие раздвоенные копытца. На голове, покрытой густой, курчавой, как у барана, шерстью, торчали маленькие рожки.

— Черт, — догадался Павел и присел от страха.

Агашка на коленях подползла к пеньку, на котором сидел черт и, выкликая какие-то непонятные слова, уткнулась лицом в траву.

Черт медленно поднял костлявую лапу и указал крючковатым пальцем на куст. Агашка приподнялась и на коленях поползла в лес. Павел хотел последовать за ней, но ноги его словно вросли в землю, и он почувствовал, что не может шевельнуть даже пальцем. Лесник закрыл глаза, ожидая с минуты на минуту, что черт схватит его своими цепкими лапами и задушит.

Сучья затрещали под ногами вернувшейся Агашки. Павел открыл глаза и вздохнул с облегчением. Черта на пне уже не было, костер покрылся серым налетом пепла и красным пятном выделялся среди травы, а над ним бесшумно реяла какая-то черная ночная птица.

— Ложись на траву, — шепнула Агашка, — ложись, открой рот да зажмурь глаза...

Павел покорно лег на живот и открыл рот. Агашка положила перед ним пучок травы с маленькими желтыми цветочками и отошла к костру. Павел лежал с закрытыми гла-

зами, боясь шевельнуться. Вдруг он почувствовал, что задыхается, сквозь его горло проскочил в рот какой-то скользкий комок, что-то шлепнулось в траву и сосущая боль в груди Павла прекратилась.

— Выскочила, проклятая, — радостно вскричал он.

Агашка неподвижно стояла у костра и расширенными, немигающими глазами смотрела в темноту.

— Ну и ладно... А теперь беги за мной, да не отставай, а то худо будет, — сказала она и бросилась в чащу. Павел долго бежал за ней, спотыкаясь о корни, натываясь на кусты и по временам кричал:

— Агаша, подожди... Мочи моей нет. Агаша...

Шелест кустов слышался далеко впереди. Павел собрал все силы и продолжал бежать. Неожиданно что-то словно обухом ударило его по голове, он полетел куда-то вниз, цепляясь за кусты, и потерял сознание.

Очнулся Павел на дне лесного оврага, на том самом месте, где он в первый раз встретил колдунью. Без шапки, мокрый от росы, в разорванной рубахе, он встал и осмотрелся. Было уже светло, в кустах перекликались птицы, лучи восходящего солнца зажигали росу в густой траве косогора. Дрожа от холода, Павел пошел к кордону.

— Где это тебя черти носили? — сердито встретила его Варька. — Аль шапку-то пропил? А рубаху-то где исполосовал? Батюшки! И крест-то потерял, татарин поганый...

— Молчи уж, — сердито оборвал ее Павел, садясь к столу. — Где был, там меня нет... Помалкивай знай...

Варька с любопытством взглядывала на мужа, но он молчал.

— Слышь, Варька, пойду завтра к объездчику... — сказал он угрюмо. — Хочу уволиться с кордона... Неладно тут, нечисто... Попрошусь на другой кордон аль в стражники, в стражниках не в пример лучше...

**Сергей Гусев-Оренбургский**

**ТЕМНАЯ СИЛА**

В Понурове, глухой деревеньке Челябинского уезда, в убогой лачужке на конце деревни, проживал полуслепой старик с трясущейся головой. Благодаря ли природной утрюмости характера этого столетнего бобыля, темному ли слуху про его подозрительное прошлое (говорили, что он отравил когда-то свою жену), — но только деревенские бабы со страхом косились на одинокое окошко его хаты и шептали про себя: «да воскресную молитву», когда случалось им проходить мимо, мужики же приписывали влиянию старика засухи, грозы не вовремя, градобитья и неурожаи. Звали старика, по-уличному, Темный, — он был высок ростом, костистый, тощий, с длинной шеей и маленькой головкой, все как бы кивавшей. И была эта головка совсем лысая, но по землистому лицу вкривь и вкось разрослась клочьями седая борода, что придавало ему сердитый и даже страшный вид. Им пугали ребят, грозили друг другу его чарами.

— Вот погоди... нашьлет тебе Темный грыз!

Знал ли, не знал старик про эту черную молву, но он ни к кому не ходил, ни с кем никогда не заговаривал и все сидел в своей хате, Бог весть чем живя и питаясь. Лишь временами, в теплые дни, выползал он на завалинку, сидел неподвижно, с лицом, поднятым вверх, к солнцу или светлому небу, кивал головой и быстро-быстро что-то шептал. Тогда по деревне говорили, что непременно что-нибудь случится. И в самом деле, в скором времени что-нибудь случилось: пожар, у кого-нибудь лошадь падала, за недоимками приезжали.

И вот случилось раз, в самую страдную пору: поднялась из гнилого угла черная туча и, не успели мужики опомниться, как она заволокла небо, потушила свет, превративши день в ночь... молния разорвала ее с одного края до другого, в небе поднялся гул и треск, словно раскололась она на тысячу осколков, и с бурным шумом обрушился на поля проливной дождь. Мужики и бабы попрятались кто куда мог: в копны, под телеги, и с трепещущим сердцем пережидали ливень.

Ехал в это время из волости понуровский мельник Халимоныч и был уже близко от деревни, как застиг его ли-

вень. Он прикрылся с головой армяком и предоставил лошади бежать, как она знает. Все вокруг него шумело, выло, гудело в туманной мгле под напором ветра и воды, и он крепился под взмокшим армяком при трескучих взрывах грома, а когда выглядывал оттуда, чтобы рассмотреть дорогу, пучки молний разрывались над ним и таинственно пропитывали дождевой туман своим мгновенным блеском. В одну из таких вспышек Халимоныч увидал что-то огромное и туманное вблизи дороги на пригорке. Не успел он подумать, что бы это такое могло быть, как в самом центре неба разорвался целый пучок молний и в длительном, трепетном свете их Халимоныч рассмотрел громадного человека с протянутыми руками, как бы пльвшего по воздуху и что-то кричавшего... но за шумом бури и ливня звуков не было слышно. Однако, к ужасу своему, Халимоныч узнал Темного.

— Чур, чур... Гос-поди! — только и мог пробормотать он. И принялся нахлестывать лошадь.

В смертной тревоге прискакал он домой, пустил лошадь, не распрягая, под навес, бросился в избу, к жене, и тотчас же побежал к соседям рассказывать необыкновенную новость. Новость облетела всю деревню, и оставшиеся дома мужики спешно собрались к избе Халимоныча.

Дождь перестал так же внезапно, как и начался, но тьма была прежняя, и черные тучи, клубясь, двигались по небу, а вдали глухо гремел гром и все вспыхивали молния.

Халимоныч кричал:

— Ростом до туч... руки вытянулись, кричит что-то... а молонья так и пышет...

Мужики возбужденно кричали:

— Доколе будет изводить?

— Весь хлеб таперича погнет...

— За што злоба такая?

— Известно, бесу служить...

— Волшебник давнишний!

Вспыхнули молнии, и трескучий удар грома словно раскроил небо вверху. Снова хлынул ливень. Но мужики не расходились.

В грозовой тьме они стояли, как водяные, у избы Халимоныча, дождь туманом разбивался о них и словно брызгал из них при каждом их движении.

— Пымать его надо, ребята!

— Как пымашь-то... волчешник!

Халимоныч кричал:

— Как деды наши ходили на них: с крестом да с палкой!

— Делай кресты, ребята!

— Старый плетень жертвую! — кричал Халимоныч.

Мужики бросились во двор, разворотили старый плетень и, привязавши к верхним концам кольев поперечины, шумной ватагой побежали с этими самодельными крестами, сквозь ливень, к хате старика. Там они попрятались, кто куда, и стали ждать. Ждать им пришлось недолго.

Сквозь ливень на дороге показалась жалкая тень человека, с трудом ступавшего нетвердыми ногами, а руками как бы нащупывавшего воздух. И видно было, что эта тень обрадовалась, увидев хату. Но в этот момент перед нею выросла толпа народа с крестами в руках, словно погост поднялся и вышел на дорогу. Старик в испуге остановился.

— Бей колдуна окаянного! — заорал Халимоныч.

И, поднявши крест, обрушил его на старика.

Вмиг поднялся лес крестов, разбивая брызгами дождь, и с шумом склонился.

— За што? — успел только сказать старик. И исчез.

Кресты поднялись, люди отступили.

Прошло некоторое время, прежде чем старик поднялся. И когда он поднялся, мокрый, грязный, окровавленный, он был так жалок в своей растерзанности и покорном недоумении, что мужики не решились бить его и стояли молча.

Он еще раз проговорил каким-то могильным голосом:

— За што?

И пошел к своей хате, не обертываясь, не дошел, упал и пополз.

С этих пор старик совсем перестал выходить из своей хаты, а зимою и помер ни для кого не заметно. Открыли его смерть случайно, только потому, что его хата уж слишком

стала напоминать надмогильный сугроб. Стали поговаривать, что и печь у него совсем не топится, давно не вьется дым из трубы. Никто не решился идти проведать его, пошли толпою под предводительством старосты и в обледенелой избе, с обледенелыми стенами, нашли на лавке обледенелого человека.

Долго тянулось расследование по поводу «смерти без покаяния», а обледенелый человек все лежал в своей ледяной избе, пока однажды не пришли понятые, сложили его в домовину и, в присутствии урядника, зарыли в углу погоста.

Между тем, несчастье за несчастьем обрушивались на деревню. Предыдущее лето было неурожайнее, — дожди погноили весь хлеб. Зиму деревня еще кое-как перебивалась, весной же начался голод. Надеялись на лето, но к лету началась небывалая засуха. С весны не было дождей.

Знойное солнце багровым шаром всходило каждое утро над истомленной землею, жгло, палило, сушило тощие всходы хлебов и трав. У крестьян опускались руки. Народ наполнял церкви по праздникам и жарко молился.

— Прогневил Господа, прогневил!

Со слезами, с причитаньями собирали понуровцы со всех долов иконы, шли в поля, нестройно пели молитвы, падали на землю, рыдали и звали:

— Господи! Пошли дождичка... Гос-поди!

Но все сожгло знойное солнце на нивах и покосах. Только кобылка там прыгала на просторе среди почернелой, обнаженной земли, да мышка полевая, голодная, тоскливо пищала. И стало мало-помалу создаваться среди понуровских крестьян мнение, что всю эту засуху «колдун наслал».

— Это он, ребята!

— Он... знамо. За то, что били его тогда... и долго земле не предавали.

— А намеднись и началась вся беда... .

— Замучит он нас теперь!

— Это как есть...

— Теперь он покажет пауку!

— Что будем делать?

Халимоньч кричал больше всех.

— А намеднись пожалели его. Надо было его тогда же прекратить! А теперь уж он нам объяснит науку!

— Объяснит... всю!

— Он объясни-и-т!

Бабы говорили мужикам, что против колдовских чар на засуху есть только одно средство: вылить сорок ведер воды на могилу пропойцы. Стали обсуждать этот вопрос, но в Понурове не оказалось могилы пропойцы. Стали наводить справки и узнали, что такая могила есть в соседней деревне, Звановке, за семь верст. Нарядили депутатов к звановцам и, по уговору с теми, послали двадцать девок с ведрами. Те, совместно с звановскими девками, напители пропойцову могилу.

Но засуха продолжалась по-прежнему.

Солнце жгло, палило, сушило, мужики ходили, как тени, с тупыми взглядами. Однажды, в праздничный приезд священника, толпа худых, истомленных мужиков окружила его.

— Помира-а-ем! — раздался жуткий гомон.

И они еще теснее сжались вокруг священника.

— Что будем делать, батюшка... беда! Прогневили, видно, Господа-Бога...

— Прогневили, старички, — подтверждал священник, — молиться надо.

— Молимся!

— Еще усерднее надо молиться, со слезами и воплями... и крестными ходами.

— А что вот, батюшка, старики промеж себя говорят... правда, что ли?

— Что же?

— От колдуна быдто это?

И толпа оживилась.

— От колдуна... вестимо, от колдуна! Темный на нас засуху наслал, вот который прошлую зиму без покаяния-то помер. Это он!

— Он! Кому же больше?

— Больше некому!

Батюшка удивился и задумался.

— Оно, конечно... была когда-то, — заговорил он, — андорская волшебница, а также и Симон-волхв, который от земли на воздух поднимался и мог чудеса творить. Однако, все сие с поущения Господня и может молитвою уничтожаться. Даже бесы изгоняются молитвою и постом. Засуху же и прочие беды Господь посылает в наказание за грехи людские... и потому надо молиться и терпеть.

Толпа жалостно вздыхала.

— Вестимо, за грехи наши Господь наказует?..

А священник протянул руку и пошевелил пальцами.

— Вы же мне, все-таки, чего-нибудь насыпьте!

По отъезде священника толпа не расходилась, люди стали всерьез совещаться.

— Вестимо, оно... Господь, — говорили старики, — а старые-то люди не зря слово молвили про колдунов-то...

— А то...

— Знамо, не зря!

— Не миновать нам, старики, что-нибудь о колдуне удумать.

— Что удумаешь-то?

— К Халимонычу надо идти, он человек умственный.

— Вали, старики, к Халимонычу!

И вот опять собрались мужики у избы Халимоныча, как в ту памятную ночь. И, как тогда, Халимоныч нашел выход.

— Я знаю, — сказал он, — что деды наши дельвали. То и мы сделаем. Ступай, старики, по домам, а как ночь, около так первых петухов, собирайся к околице с заступами. Тяжело ему, ребята, в могилке лежать, потому могилка, как ни на есть, дело православное... Мы его и выкопаем!

— Опосля-то што же?

— А там удумаем. Только дело это в тайности держи!

...Наступила июльская ночь.

И уже время близилось к полночи, а воздух был еще раскален и душен, от всех предметов во тьме исходило, казалось, жаркое дыхание. Словно стонали во сне во дворах животные. Мириады звезд высыпали в темном небе и в их таинственном свете по тихой улице бесшумно скользили людские тени, одна за другой направляясь к околице. Ско-

ро там собралась большая толпа мужиков, вооруженных заступами и лопатами, словно готовая к сражению с каким-то неведомым врагом. Послышался скрип телеги и ленивое пофыркивание лошади. Телега подъехала вплотную к толпе и с нее раздался знакомый голос Халимоныча.

— К могилке, старики!

Толпа окружила подводу и медленно направилась по дороге к погосту. Шли и разговаривали о домашних делах, а главной темы почему-то избегали. Но вот нелепо вырисовались в темноте кресты. Телега остановилась у заросшей бурьяном и полынью канавы. Как тени мертвецов, бесшумно скользили мужики по тихому погосту меж покосившимися надмогильными крестами, пока не подошли к одинокой, бескрестной могиле.

Халимоныч безмолвно был признан распорядителем.

Ждали его слова.

— Копай! — сказал он.

И началась спешная работа, застучали заступы и лопаты.

В жутком молчании рыли мужики, вздрогнули и остановились, когда глухой звук издала крышка гроба. В том же молчании осторожно вынули они из могилы гроб и почти уронили его и, тяжело дыша, отпрянули, когда в нем что-то как бы пошевелилось и застучало.

— Неси! — чуть слышно скомандовал Халимоныч.

Дрожа и крестясь, навалились мужики на гроб всей толпой и, обхватив его, понесли. В таинственном мерцании звезд двигалась эта процессия между надмогильными крестами.

У телеги Халимоныч скомандовал:

— Взваливай!

Гроб поставили на телегу.

И опять в нем что-то пошевелилось и глухо застучало.

— Опосля што же? — прошептал кто-то.

— К болоту его теперь, — распорядился Халимоныч, — там ему место, пуцай успокоится. И кол в него осиновый вобьем, как деды наши в стары годы дельывали.

— Осина-то у нас не растет... березовый, ништо?

— Старые люди говорят: осиновый сподручнее, потому Иуда на осине повесился.

— Где же взять-то? Березовый сойдет.

И вот Темный еще несколько верст продолжал свое земное странствование до глухого вонючего болота, где втиснули домовину с молчаливым мертвецом в жидкую топь и забили березовым колом... Только темная ночь видела это, удушливая июльская ночь, но она была безучастна и молчалива. Выдали тайну впоследствии сами же понуровцы, проболтавшись на базаре от радости, что вскоре же после «колдовских похорон» пошли большие дожди и хоть кое-что спаслось от засухи.

Возникло дело, открыли виновных...

Некоторые отделались отсидкой, а Халимонич и двое других ушли в Сибирь...

**Василий Князев**

# **НЕЧИСТАЯ СИЛА**

(Рассказы дяди Ипата)

## 1. Карл да Авдотья

Посреди необозримого поля высится зеленый, пологий курган, увенчанный белою, стройной березой, грудь-о-грудь с темною, стройной сосной.

Вот что сказывал мне дядя Ипат об этом кургане:

---

Было это еще при господах. Перевел барин в новгородские свои поместья целых четыре деревни, а на их место чухну посадил. Арендаторов.

Тяжелое было тогда время. Чухна быстро полюбилась барину, и — было за что: где до чухны болота стояли, зазеленели луга да пашни; где волки, барсучье да медведи, только и живья было, — застукали по стволам топорики, протянулись просеки, застучала телега, рассыпая по рытвинам крупные сосновые поленья.

Хорошо было барину за чухной, да нам накладно. Шаг шагнешь, слово молвишь, — все тебе чухной в очи тычут.

И порешили мы тогда всем миром: с чухной — ни слова, в чухонские деревни — ни ногой. Девкам нашим с чухонскими парнями — не знаться, а ежели придет к нам чухонский парень да накроем, — бей, не робей: весь мир в ответе!

И была у нас тогда одна девка. Авдотья. Девка ладная — белая, здоровая, да и работница, тоже — не из последнего десятка. И слюбилась та девка с чухонским парнем.

Узнали ребята, зачали пытаться:

— С кем, мол, Авдотья, по рожьям путаешься? По загуменьям ночи прогуливаешь с кем?

Ни гу-гу девка!

Однако, узнали ребята: и парня как зовут, и где сходятся, и где, следственно, накрыть их можно. (А звали того чухонского парня Карлой. Больно ладно, пес, на скрипке играл, тем и заполонил девку.)

Узнав, — в засаду сели. А сев в засаду, в ту же ночь и накрыли голубчиков, посередь зеленого поля, у глыбокой канавы. Там и порешили с ними. Там и закопали.

И выросла на том месте, на Авдотьиной могиле, береза, а рядом сосна выросла. Стоят посередь зеленого поля, жмутся друг к другу, грудь к груди, будто шепчутся, обнимаючись, Карла с Авдотьей.

## 2. Лесовик

Звали того парнишку Гришкой, и ходил он у деда Савелья в подпасах второй год.

Вот однажды погнал он овец к Лисьим Норам, идет, бичом щелкает, да вдруг почудилось ему, будто в лесу овца бячит. Бросил парнишка стадо, пошел в лес: точно, — бячитг. Зачал кликать — нейдет.

— Экая, — говорит парнишка, — овца шалая! Ты ее, как добрую какую, кличешь, из лесу вывести хочешь, а она — на вот тебе! Ну да стой: у нас долго не нагуляешь!

Бродит парнишка по лесу, шарит овцу, кличет — нейдет, перестанет кликать, а она тут: и голос подает и листьями сухими шуршит: тут, мол, я, за этим вот бугорочком!

И бродил так парнишка, не много, не мала, — до самой полуночи. А настала полночь, плюнул: где, мол, ее теперь найдешь? Из-за нее, из-за проклятой, все стадо порастеряешь. И то, поди, разбрелось невесть куда: ищи теперь да свищи!

Плюнул парнишка, да и пошел из лесу. Шел, шел... Вышел. Глядит, — село перед ним, все, как есть, огнем залито. Народу — тьма тьмушая. Коней, телег... такой грохот, что не приведи и Господь!

Увидал парнишку народ, обступил, зачал спрашивать:

— Кто, мол, такой? Чей? Откуда?

Сказал парнишка, — смеются.

— Да ты, мол, врешь, парень!

— Ну, врешь... Стану я врать! Говорю: тютюцкой, стало, оно и так!

— Да ты знаешь ли, куда ты попал?

— А куды?

— В Петров град.

— Ну?!

Сомлел парнишка. Петров-от град от них, от Тютюцы, без малого, в ста верстах. Статочное ли дело, чтобы этакому парнишке в день, да сто верст сделать? И потом, ходючи по лесу, ни единой дороги не пересечь, ни на единую деревню не наткнуться? По нашим местам таких стоверстных сплошняков и слыхом не слыхано.

— Ну, — говорит парнишка, — прости, народ честной; не иначе, как я на *дурной след* наткнулся, за *им* (лесовиком, значит) следом шел!

Так ему и поверили! Питерцы народ дошлый: Питер бока повытер; забрали парнишку, да и отправили в часть.

А оттуда — домой. Этапом.

### 3. Банник

Истопила тёта Палагея байню, набросала камней раскаленных в кадушку, вымыла пол: готова байня!

Первым пошел дядя Никифор с Ванькой. Вымались. Справились тёта Палагея, ан — сосед в двери.

— Нельзя ли, мол, и нам вашей байнкой попользоваться?

— Отчего нельзя? Можно.

Пошел сосед. Вымался. Черед — тёты Палагеи.

Пошла тёта Палагея. Идет, крестится; соседа на чем свет костит:

— Тоже, мол, лаком на дармовщинку-то. И как я теперь вымоюсь, по *третьему-то зною?!*

А в народе бают: первый зной — большаку с сыном, второй зной — хозяйке с дочкой, а третий — *ему*. Тоже, и Карасиха-баба; кто ее спортил? Была баба — всем бабам баба,

а теперь — и взглянуть не на что: щепь щепью!

Пришла тёта Палагея в байню, разделась, моется, а у самой сердце ходуном ходит.

— Пронеси, мол, Никола Милостивец; долго ли до грехато? Деревня — эвона где: на горе, а байня... только и слова, что байня! Встанешь, — в потолок лбом упруешься, сядешь — всю байню займешь. И — темь: глаза выколи!

И чудится тёты Палагеи, что лезет к ней кто-то черный, лохматый, из-под полка.

— Кто там? — кричит тёта Палагея.

Молчит.

— Кто там?.. Говори! — кипятком ошпарю!..

А он как рявкнет, да — на нее!...

---

Долго ждал бабу дядя Никифор: нейдет!

Пошел в байню, открыл дверь, глядит: лежит тёта Палагея синяя-пресиняя, глаза навывкат, язык черный, в кровь искусан.

— Угорела, — говорит фершал, — баба...

— Угорела... Сам, мотри, не угори! Ни при чем он тут, угар-то. За чем бабонька пошла, то и нашла. Кто по *третьему* зною один в байню ходит, того, беспреренно, нечистая сила задавит. Потому: первый зной — большаку с сыном, второй зной — хозяйке с дочкой, а третий — *ему!*

#### 4. Смерть дяди Стяпана

...Лежит то нечистое место в лесу, на дороге меж нашей деревней и Нетовской фабрикой. Мужика там прирезали. Платана Михайлова.

На том мест, где порешили с им, крест поставлен и каждую ночь приходят к тому кресту два попа в черных ризах, поют и кадилом машут. А видел тех попов я, дядя Ипат.

Так, парень, и отметь в книжечке.

---

Загуляли дядя Стяпан с дядей Ипатом в Нетове, у лавошника, Сергей Арефьича, на именинах: до самой, до глубокой полуночи.

Вышли вмести, но на полудороге потерял дядя Ипат дядю Стяпана. То ли вперед ушел дядя Стяпан, то ли позади остался, — кто его знает? Нет дяди Стяпана, и вся недолга!

Пошел дядя Ипат один. Идет, шатается, во весь голос песни поет. Дошел до поворота, повернул, глядь...

— Чур меня, нечистая сила! —

Горит на Михайловом кресте свечка, два попа стоят в черных рясах, поют и кадилом машут.

Подошел дядя Ипат поближе, слушает, — поют попы панихиду:

— Упокой, — поют, — Господи, душу раба Твоего, дяди Стяпана!

Свету не взвидел дядя Ипат. Лесом, напрямик, безо всякой дороги, проваливаясь в канавы да ямы, натываясь на стволы да изгороди, лётом полетел в деревню. Только и очнулся, как свою избу завидел. Ввалился в сени да и заснул богатырским сном.

Утром встал, — к дяде Стяпану:

— Вертался ли?

— Не, — говорят, — не вертался.

Сбили народ, пошли по нетовской дороге, собак взяли...

И на полуверсте от фабрики, в глубокой придорожной канаве, нашли труп захлебнувшегося дяди Стяпана.

---

## 5. «Яшка Сухомленской»

...Шол я из Намастырьков. Под Илью дело было...

Иду это я, песни играю, и диво мне: куда это Яшка Сухомленской запропал? Вышли вместиах, помню: у Михайлова креста закуривали, я еще у него спиц брал... неушто вперед ушел?.. Да нет: не может этого быть!

Прошел я с полверсты, глядь — человек идет.

— Яшка, ты, мол?

— Я, дядя Ипат.

— Куды ж ты, — говорю, запропал, миляга? Я думаю, где Яшка? Куды Яшку черти унесли? А Яшка, — накося: впереди! Обожди, — говорю, — вместиах способней.

Пошли вместиах. Шли, шли, — конец лесу.

— Ну, — говорю, — Яша, закурим, что ли?

— Закурим, — говорит, — дядя Ипат!

Стали мы закуривать, — что за пропасть? — полкоробка спиц извели, и так-то, и этак-то прилаживались: гаснет огонь, да и все тут!

— Лягим, — говорит Яшка, — в рожь, потому — ветер. При таком ветре закурить, — и ни Боже мой! только, — говорит, — спицам пустая трата!

— Лягим.

Легли.

Только, это, я, парень, стал закуривать, слышу: кличет меня кто-то с дороги.

— Дядя Ипат, а, дядя Ипат!

— Ну?

— С кем это ты разговариваешь?

— С кем? С человеком. А ты кто таков?

— Я? Я-то Гаврила, лесник, а вот приятель-то твой кто?

— Как кто, — говорю, — Яшка Сухомлеической!

— То-то, — говорит, — Яша!... А ну, засветь спицу, глядь на него: Яшка ли?

Повернулся я к Яшке, ан его... и след простыл!

— Ну, — говорит Гаврила, — иди-ка ты, дядя Ипат, домой. Этот, — говорит, — «Яшка» третьева дни до полуночи

меня по болоту водил. Счастлив, — говорит, — твой бог, что на меня напоролись, а то быть бы тебе в канаве!

А Яшка-то, парень, как потерял меня, так в Нетово, стало быть, и вернулся. У того же Сергей Арефьича и заночевал в сарае.

## 6. Волк

Закрутил Спиркин: семь дней домой глаз не кажет. А дома — жена, дети; все переели.

На осьмой день к вечеру надела Спирчиха улиги, да и пошла в Тютюицы, к брату:

— Коли, мол, и он не поможет, ложись, Спирчиха, в могилу, да и детей с собой забирай!

Только дошла она до поповой пожни, свернула налево, глядь, а на дороге — волк!

Зубы — оскалены, глаза — свечи!...

Помертвела Спирчиха. Стоит, смотрит на волка, а волк на нее смотрит!..

Долго ли, коротко ли, а отошла баба.

— Э, думает, двум смертям не бывать, одной не миновать. Тута волк, а тама — ребята голодные; что страшнее?

И стала баба забирать влево. Обойду, мол, его стороной.

Только, это, перемахнула она канавку, а волк, — за ней. Сел на тропу, да как завоет!

Баба — на дорогу. Волк — следом...

Баба — направо. Волк — следом...

Баба — вперед: сидит волк, воеет, не дает бабе дороги!

— Да что же ты не дерешь меня, проклятый! — кричит баба, — жри! жри!..

Подняла камень, пустила в голову волку. Еще жалобнее завыл волк...

Последнего ума лишилась баба. Бросилась к волку и начала за уши оттаскивать его с дороги...

Не оттащит!

А волк — воеет, воеет...

Посмотрела ему, невзначай, в очи баба и... бросилась от него бежать! Бежит, а за ней — волк бежит. Остановится, — и волк остановится...

До самой избы проводил волк бабу и всю ночь просидел у ее дверей...

---

А наутро узнала Спирчиха про великое горе: сгорела Тютища!

И первым погиб брат ее — задохнулся в низкой избе, под рухнувшей на его голову крышей.

А с ним и жена его задохнулась. И — дети.

Никто не спасся!

**Валерий Брюсов**

**РАССКАЗЫ МАШИ, С РЕКИ МОЛОГИ,  
ПОД ГОРОДОМ УСТЮЖНА**

Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних жуликов и боишься, а у нас в деревне как худо: и дворовые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе дворовой живет, а домовой в доме; дворовой с лица, как хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть могут, кто после девяти на двор к лошадям выйдет. Так нельзя выходить, надо кашлять. А то вот отец раз вышел на двор и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладает. (Он лошадь нашу очень любит, все ей косу заплетает; косу длинную заплетет. А корову невзлюбил, языком ее всю против шерсти вылизал.) Домового реже видать можно, и в своем виде он редко показывается. А вот на печке спать одной страшно: придет ночью шерстнатый, давить будет. А баечника худо увидеть, он сердитый, не любит, чтобы ему мешали. Старуха поздно вечером парилась, после всех; вдруг в дверь стучат. Она думала, это ее невестка, и говорит: «Входи, входи, я тут одна моюсь». А никто не входит, и в дверь все стучат. Он, значит, париться пришел, она ему мешает. Он уж под конец рассердился, стал дверь отворять и затворять: просунет голову и спрячет. Старуха увидала, что шерстнатый пришел, испугалась до смерти, кричит ему: «Батюшка, батюшка, погоди, я сейчас». Сбежала с полка и без памяти, как была, рубашки не надела, побежала на деревню, дорогой на сук наткнулась, глаз себе выколола, теперь кривая ходит. Вы, барышня, сами поезжайте, увидите: теперь кривая ходит. Спать в бане совсем худо. Если кто с крестом, того, конечно, баечник задавить не может, так только походит, потолкает, потому что он тоже спать в бане пришел, а они ему мешают.

Леший очень худой, это уж самый худой. Раз девушки коней пасли, ночью. И вздумали ночью слушать пойти. Кресты сняли и пошли за лес на опушку и стали всех хороших призывать. Услыхали гул, все ближе, ближе. Им бы сказать: «Чур, пока полно», а они все не говорят, все больше, больше призывают. Потом видят, идет на них копына сена и в середине как кочерга, и вся огнем горит. Горит не прямо, а все кружится, вьется. Они закричали: «Каравул, каравул!», побежали на деревню, прибежали на бесе-

ду, кричат, что за ними копна горящая гонится. А на беседе старуха-колдунья была. Она им говорит: «Плохо ваше дело, девицы, он непременно сюда придет, вы наденьте на головы горшки и сядьте. Он как вас ударит по горшку, вы и валитесь». Пришел нехороший в избу, стал по избе кружить. Нашел девушек, ударит по горшку, они и валятся, он и думает, что им голову разбил. Тем только и избавились.

А русалка у нас, барышня, каждую ночь на кладбище на камне сидит. Вот сторож церковный, когда ходит к утрене звонить, каждый раз ее видит. Волосы длинные-длинные и расчесывает большим гребнем. А еще у нас в реке камень есть, мы раньше туда купаться ходили, не знали, что там русалка сидеть любит. А вот наши мужики шли раз тихо, она их и не заметила. Подошли, а она сидит на камне и волосы расчесывает. Увидала их, глаза у нее большие, черные, — испуганная, и сразу нырнула в воду.

Ой, барышня, а как у нас в деревне нехорошо делают. На святках (святки у нас длинные, у нас в деревне, у деревенских, от Николы до Рождества, а в городе, у городских, от Рождества до Крещения) слушать ходят. Вечером пойдут девицы на беседу. Потом которая-нибудь скажет: «Пойдемте слушать». Сейчас они кресты снимут, на гвоздь повесят. Такие там, в избах, где беседы, (гвозди) вбиты по стенам. Сядут, кто на кочергу, кто на ухват, кто на сковородник, и поедут на перекресток. Там сделают дорогу: три полосы по снегу проведут. Встанут и начнут всех нехороших призывать: «Черти, дьяволы, лешие, водяные, русалки, домовые, баечники, перебаечники — приходите и покажитесь нам». Тогда услышат звон колокольчика. Когда уж он близко будет, надо кричать: «Чур, пока полно». Рано нельзя кричать — ничего и не будет. А если поздно крикнуть — проедут и задавят. Если же вовремя скажут, проедут мимо, скоро-скоро, на хороших конях, нарядные кавалеры; все в белых высоких-высоких острых шапках, и с шапки на лицо и сзади длинные желтые кисти висят. Старые с длинными бородами, молодые без бороды. Проедут и прозвонят колокольчиком каждой девице, сколько ей лет замуж не выходить.

А еще слушать ходят к бане, на колокольню руки протягивают, кто за руку схватит — суженый ли, нет ли. Худо, если шерстнатый за руку схватит.

А как у нас в деревне худо: колдунов сколько! Они, колдуны, молитвы говорят и берут на себя их, кто сколько, много берут. Если сорок кто возьмет, то это у них ни за что считается, а берут несколько сот, несколько тысяч. И уж они колдунам покою не дают ни днем, ни ночью, все нужно, чтобы колдун с ними говорил. У нас, когда колдун приходит, его пивом угощают, боятся, чтобы он порчи не напустил. Раз колдун у нас ночевал, так я сама слышала, как он с ними говорил. Тятя ему говорит: «Да спи ты, дядя Михайло!» Он говорит: «Я сплю, я сплю». А потом: «Срубите елок, срубите елок». А они говорят часто-часто и плохо-непонятно, густым голосом и много раз одно и то же слово повторяют: «Сколько елок, сколько елок, сколько елок?» — «Десять елок, десять елок». Они скоро-скоро назад придут и опять спрашивают: «Мы срубили, мы срубили. Что нам делать? что нам делать? что нам делать?» — «Кирпичи делать». — «Сколько тысяч? сколько тысяч?» Он скажет, сколько тысяч. Они опять скоро вернуться: «Мы сделали, мы сделали». — «Хорошо ли сделали?» — «Хорошо сделали. Что нам делать? что нам делать?» Он и в церковь войдет, только успеет сказать: «Господи Иисусе Христе, пресвятая Богородица», а они опять его спрашивают, не дают в церкви стоять. А перед смертью их надо кому-нибудь отдать, а то они помереть не дадут, как ни мучайся.

Одной старухе некому было отдать, а уж очень тяжело было — помереть хотелось. Был тут только мальчик десяти лет. Она говорит ему: «Сними с меня». Он и согласился. Она велела ему крест снять и молитвы сказать. Она и отдала ему сорок. Они и стали его все спрашивать. Мать его забранила нехорошими словами. Его и унесли. Гадалка сказала, что она поймать не может. Поймать может только крестная мать и то в диком виде. Крестная мать пошла в поле жать и увидала, что он по полю зайчиком прыгает. Она за ним погналась и поймала и свой крест на него надела. Тогда они его и отпустили.

А если колдун или колдунья венчаться будет, должен хоть на время их кому-нибудь сдать, клятву дать, что назад возьмет, а то не дадут в церкви слов сказать, каких надо.

Гадалки это совсем другие, чем колдуньи. Им не надо нисколько на себя брать и никаких молитв говорить. Им нужно перед гаданьем только гада\* съесть, поймать гада черного, сварить, кусочек и съесть.

У одной девицы был жених, и она очень его любила. А он помер. Она о нем так плакала, что ее собственная мать хотела ее топором зарубить. Его положили в церкви. За полторы версты от деревни церковь была. А девица вечером надела тулуп церковного сторожа, пошла к дьякону, ее там не узнали, спросила ключ от церкви. Пошла в церковь и принесла мертвого оттуда на беседу, принесла и в угол посадила, и стала перед ним плясать. А он, конечно, сидит мертвый, ничего не понимает, голову закинул. А она плясала и говорит: «Теперь ты пляши». Тут уж, верно, враг в него вошел, он встал и стал плясать. Потом опять сел в угол, как мертвый. Она опять стала плясать. Потом он опять плясал. Потом говорит: «Теперь неси меня назад». А она уж испугалась, говорит: «Иди сам». Он говорит: «Я не просил, чтобы ты меня приносила, ты сама за мной пришла, теперь неси назад, откуда принесла». А парни на беседе сидят в углу и говорят: «Ну что ж, неси, снесешь, потом назад на беседу приходи». Она хотела его нести, а он тут ее задавил.

Задумали девицы беседу устроить в усадьбе, в четырех верстах от деревни. Ходили они уж целую неделю на беседу, а кавалеры к ним не ходили. Им скучно одним было. Вот собрались они раз на беседу идти. А у одной девицы сестра маленькая, пять лет, просится: «Варюшка, возьми меня с собой на беседу». Она говорит: «Куда я тебя с собой возьму». А мать говорит: «Ничего, возьми». Она взяла привела ее и посадила на печку. И стали девицы плясать. Вдруг отворяется дверь — к ним кавалеры пришли. Эти кавалеры были *нехорошие*, а они не узнали. Говорят: «Что вы к нам давно не приходили, как с вами веселее будет». Стали они

---

\* Змею (*Прим. авт.*).

с ними плясать. Девицы-то не видят, они им не показываются, а девочка видит: они как отвернутся, у них изо рта огонь. Девочка испугалась, зовет сестру: «Варюшка, я домой хочу». Она говорит: «Подожди, сейчас пойдем». Она говорит: «Нет, Варюшка, я сейчас хочу, я спать хочу». Она говорит: «Да подожди, сейчас пойдем, спать будешь». Она говорит: «Варюшка, да подойди сюда». Сестра подошла, она ей тихонько говорит: «Варюшка, я боюсь: у ваших кавалеров изо рта огонь». Девушка испугалась, говорит: «Я домой пойду». Ей говорят: «Да погоди, куда ты». Она говорит: «Нет, я только девочку домой снесу и назад вернусь». Она схватила девочку и всю дорогу домой бегом бежала. Прибежала, залезла на печку и говорит: «Мамушка, я на беседу больше не пойду: у наших кавалеров изо рта огонь». Наутро пошли на усадьбу, а все девицы, кто задавленная лежит, а кто к потолку повешенная.

У нас в деревне худо, все браниться любят, а браниться очень худо. Скажут кому: «Ну тебя к лешему» или черта помянут, он тогда и унесет, пойдет ли кто на овин или на поле, человек ли, конь ли, корова ли. Нужно идти к колдуну, он скажет, через сколько дней его отдадут. Ходят, зовут, сколько дней ищут. Первый раз они ему дают голос подать и увидеть можно, а потом уж не видно, и голоса не слышать. Они его мучат, ездят на нем, за волоса таскают, в грязь кладут, в болото заводят и ничего не велят рассказывать, а то опять унесут. Колдун так и говорит: «Вы его ни о чем не спрашивайте, ему ничего сказать нельзя».

**Софья Федорченко**

**БЕС ДА ИНОК**

Вышел инок в лес, видит, под елью бес притаился, в пекло до петухов не поспел. Хвост поджал, дрожит, словно кутенок в корыте. Инок и говорит: «В самое время тебя мне Господь послал. Сколько хожу, ни черта не видел, а пора же мне ваше чертово племя на разум наводить».

А бес ему и говорит: «Вот ты все — черта, да черт, а поваландался бы ты с мое в пекле-то, так может, еще бы и меня чернее стал. Давай мы так: на год с сего часу — я в скит на поправку, а ты в пекло на испытание. И мне, бесу, пора, да и тебе, иноку, невредно будет». — «Ладно», — инок говорит. Сказано-сделано. Одел бес ряску и всю одежду иноческую, да в скит на поправку, а инок нагишом, да с бесовым словом, да в пекельные двери, на испытание.

Вот прошел год, и сошлись на том самом месте инок да бес. Бес-то в рясе, голова в масле, рога оттаяли, хвост на подвиг отрублен, глаза в небо лупит, и, правду сказать, брюхо отрастил. А инок шерстью оброс, волос в хвост пошел, голова босая, да вся в рогах, глаз у него жадный, сам тощий, ноги до копыт закорузли.

Вот бес-то в рясе и говорит: «Охо-хо, грехи наши тяжкие. Да как же это ты, инок, до такого образа себя допустил? Мне за тебя, что ли, молиться-то, ай как?» — А инок и говорит бесу: «Молись, говорит, не молись, мне теперь все едино. Только вот тебе мое слово. Я в скиты больше не ходок! Эдакой я воли попробовал, да опять в скиту бока пролеживать, ищи дурака. У вас в скиту-то что, — то жар, то холод, то жратва, то голод; что смех, то и грех, будь дурак, будь разумен, — на всяку думу игумен: сердись, не сердись, а все молись; когда спать охота, вставай да работай, а как по жилушкам сила — лежи, что в могиле; вина не касаясь, пости, да кайся, так до смерти майся... А наше-то пекло — круглый год лето: в пекле свободно — думай, как угодно, под лютую руку — делай грешным муку: а с доброго духу — хлещи вино, да сивуху: играй в карты, в кости, ходи к чертям в гости: стань хоть черн<ый>, хоть белый: что хошь, то и делай: хочешь, плачь, хочешь, смейся, на кулачках бейся, хоть стой, хоть валяйся — грехи себе, не кайся. Ведь грешному народу — дальше пекла нету ходу».

Так и разошлись по своим делам. Бес в скиты, а инок в пекло.



**Иван Евдокимов**

**СКЛАДЕНЬ**

Илл. Л. Саянского



# СЫЛАДЕНЬ

Как две черные, неисчислимые и вражеские рати, подступили к обоим берегам Шексны леса. Только она, быстрая, многорыбная, младшая сестра Волги, легла между ними заповедной серо-желтой лентой, и нет, и не будет сечи. По тридцать, по сорок верст волока в Сиземских лесах. Целый день по узкой дороге, устланной валежником, плетется лошаденка, а над ней, в узком канале лесной просеки, плывут поднебесные лебеди, кружат ястреба и воронье, да переливаются мелкие птички. В вечерних сумерках страшен хруст и лом, почудившийся в стороне медведь не перевелся в глуши Новгородской пятины. Ночью озирается лошадь и беспокоен ямщик: не схватит ли властная рука за удила и не крикнет ли во мраке разбойничий голос, как в старину: «Стой, купчина!».

И редко, редко на день езды один от другого стали, отступая с дороги, постоялые дворы — желанный приют в осеннюю непогоду, в летний пламенный жар и в метельную зиму. На одном из этих постоялых дворов случилась престранная история, которую мне хочется рассказать.

---

Казенный объездчик Иван Поникаров, молодой, здоровый, сероглазый, большебородый мужик, выстроил в самой

сиземской глуши, на Бесовой поляне (водит дух) постоянный двор, посадил в него молодую жену, работника-брата, а сам только наездом показывался, — под вечер с ружьем на широкой спине и с топором за поясом. Не успел выстояться новый дом, не просохли и не посерели стены, как стали чуждаться Поникарова двора, что на Бесовой поляне, и прохожие богомольцы, идущие в Ферапонтов монастырь, или к Нилу Сорскому, или к Кириллу Белозерскому, и проезжие торговые люди. Только артелью безбоязно было ночевать, да нищему, скудельному страннику ночлег был милостив. Много совершил Иван убийств, грабежей и увечий, но дьявол неустанно нашептывал ему в волосатые уши ненасытную жадность.

На пятый год Иван убил свою жену, зарезал святого старца и изнасилничал насмерть немую девушку-нищенку.

Два года просидел он в тюрьме, но ему удалось оправдаться, обвинив брата — и его выпустили. Расколотил Иван ставни у своего постоянного двора, поселился в нем один и снова стал принимать постояльцев. Теперь он был мирный и кроткий. Не прошло года, как все в округе забыли прежнее, стали сомневаться в правдивости ходивших про Ивана рассказней, а затем и просто перестали верить в них. Но в черном сердце Ивана горела ненависть и по-прежнему корыстолюбивая жадность грызла его. И вот, наконец, это сердце раскрылось.

В один из весенних вечеров заехал на ночевку к нему купец из Москвы, скупщик пушнины и всякого зверя лесного. Иван ласково принял его, купец ввалился в избу, долго раздевался, встряхивал желтый армяк, кожанник, снимал сапоги, чесал мокрые волосы, пока не успокоился и не сел за стол.

Иван подал самовар, выставил кузнецовские сине-золотые в цветах чашки и тоже сел к столу. Пришел работник купца, отрядивший на ночь лошадь, постоял у порога, бросил в задний угол избы топор и тоже сел к самовару. Купец вынул из чемодана еду и разложил на столе.

Все трое молчаливо принялись за чай. Иван наливал. Обогревшись, купец стал расспрашивать Ивана о ярмарках,

о торговцах пушниной, о дорогах, старательно запоминая указываемые Иваном места, имена и фамилии торговцев. В свою очередь Иван расспрашивал купца про его путь, про его промысел, про родных. В бесконечно бессвязных разговорах прошло довольно много времени. Шипевший самовар затих. От стаканов уже не шел пар. Разговор прекратился.

И только лесная буря билась в темные окна, стучала бесконечной дождевой дробью, стучала калиткой, скрипела воротами, выла в трубе сотнями диких голосов и то и дело приподымала в сенях двери на петлях, будто желая осилить запоры.

Встал работник купца и пошел спать в заднюю избу, куда его повел Иван. Когда Иван возвратился, кончил пить чай и купец.

Здоровый и сытый, прошелся он по избе, разогнул ноги, вытянул усталую спину, снял ватный жилет и положил его на лавку. Прошелся раз, другой, остановился и стал снова надевать жилетку.

— Али холодно у нас? — спросил Иван с усмешкой.

И, не глядя, ответил купец:

— В жилетке спокойнее — нутро не вывалится, нутру теплее. Правду сказать, так, грешник, наелся, что хоть матушку-репку пой.

И засмеялся.

— Поди, деньги держишь в жилетке? — снова спросил Иван.

— Дорога дальняя, — пробормотал купец. — Рассчитываться стану — увидишь, где держу. А ты что спрашиваешь это, зачем тебе? — вдруг обозлился он и подошел к самому Ивану с сердитым литом.

Иван с усмешкой проговорил:

— Деньги твои при тебе. При тебе и будут. Чужого нам не надобно. А ежели кто злой человек, то только покличь меня...

Купец успокоился и доверчиво сказал:

— А что, не слышать у вас ничего?

— А чего?

— Не безобразничают? Говорили мне — было на Сиземе смертоубийство.

— Спаси Бог. Не слышали. Тут живем, а не слышно. Сторона наша глухая, и нет у нас этого баловства. По городам более работают...

Томительный вечер прошел. К полночи потухла жестяная лампа. Купец велел зажечь перед божницей лампадку и, глядя на нее, уснул на лавке в переднем углу, в ватной толстой жилетке, подложив под голову свой чемодан и закрывшись пиджаком.

Иван убрал посуду и лег на печку. Из-за сапогов купца, поставленных на печь сушиться, он стал следить за каждым движением своего постояльца, кровь быстро и горячо поплыла по жилам, руки сжались...

Вот захрапел купец.

Иван выждал и стал тихо приподыматься. Посмотрел на двери, сел на печке, долго, не шевелясь, глядел на купца и медленно, чтобы не скрипнуть на приступке, слез с печки. Слез и присел.

Купец вдруг повернулся лицом к нему, что-то забормотал и у него свалилась на пол рука, ударившись громко коготышками.

Иван вздрогнул, помедлил и пополз за топором в задний угол.

Топор звякнул.

И опять купец заговорил во сне и долго что-то бормотал, и улыбался, и сосредоточенно вздыхал.

Иван стоял на четвереньках и, не отрываясь, глядел на купца, вздрагивая от холодного пола. И вновь пополз он. Зубы его стучали, сердце быстро колотилось под рубахой.

Когда он был совсем рядом с лавкой, уже видел в мягком лампадном свете блаженное, спокойное лицо купца с веселой и приветливой усмешкой. Купец заприподымался, чуть не свалился с лавки, провел по лицу рукой, перекрестился и отвернулся кт стене.

Иван ненадолго оцепенел. Еще один ползок — и он взялся левой рукой за лавку, подумал о работнике купца, потом странно оскалится и как Взмахнул топором...



А. Сяночкин

Стук, стук, стук, — раздалось в это время громко и отчетливо в окно и в сенях — стук, стук, стук...

Иван вытянулся весь, прямой, напряженный, слушающий, с широкими пораженными глазами, обращенными на купца.

Купец не проснулся, а лишь прижался к стене, стал тереть о нее руку — и вдруг громко-громко засмеялся во сне.

Иван побелел, волосы поднялись у него дыбом, он, не отрываясь, смотрел на купца, как бы забыв о стуке в сенях и в окно.

Стук, стук, стук, — раздалось снова, — стук, стук, стук...

Иван быстро с топором в руке пошел в сени.

Стук, стук, стук...

Дверь визгнула за Иваном, и ветер хлопнул ею, ворвавшись в сени щелями в крыше и со съезда.

Иван остановился.

Он услышал ясный и спокойный голос:

— Открой, Иван, двери. Пусти ночевать. Иван, ты слышишь, открывай, тебе говорю.

Иван подошел к двери вплотную и зашептал:

— Кто ты? Кто ты?..

— Открывай и узнаешь. Пусти скорее. Слышишь, Иван?! Не уйду, на пороге лягу, буду стеречь тебя.

«Пущу и убью», — мелькнуло в голове у него. И тотчас он щелкнул задвижкой.

Распахнулась дверь, и стало светло, как днем, вывалился топор из рук у Ивана, и увидел он перед собой небольшого седенького старичка с кужлявой седой бородой, в ризе с белыми крестами, узнал он Николу Угодника — и замер...

Посмотрел на него Никола Угодник грозно, брови седые насупил, шаг к нему сделал, погрозил пальцем и сказал:

— Не тронь его, Иван!

И слабым голосом ответил Иван:

— Не трону, батюшка Никола Милостивый!

— Возьми топор и иди.

Наклонился послушно Иван, взял топор и, сгорбившись, пошел в избу.

Затворились сами собою двери в сенях, и опять стало темно, и только буря завывала и заплакала вокруг.

Остановился Иван у порога, заплакало у него и размякло сердце, губы сами собой зашептали: «Свят, свят, свят», он представился себе жалчайшим во всем мире и недостойным стоять даже у порога. Упал он на колени, воззрился на лампадку и зарыдал.

— Окаянный, душегуб, разбойник, женоубивец, каин...

И отворилось само собой одно окно, а в окне показался Никола Угодник с грозными очами и сказал:

— Так, так, Иван.

Проснулся купец и дико стал глядеть на Ивана, стоящего на коленях в слезах у порога и с топором в руке. Потом вскочил на лавку и закричал в смертельном страхе:

— Не тронь, не тронь, дорогой мой, золотой, ангел. Вот деньги, возьми все... Не тронь.

Купец быстро сдернул с себя жилетку и бросил ее Ивану, потом бросил чемодан, кошелек и продолжал, крестясь, уговаривать Ивана:

— Возьми все, ради Христа, не убивай, — выпусти меня на волю, не скажу ничего, никому не заикнусь, свидетель Никола Угодник и Пречистая Дева Богородица... Не губи, родной. Отпусти, дай помереть с покаянием. Угодники святые. Господи Батюшка. Отврати, защити... Ангельские чины. Сергей Радонежский, Филипп Московский, Кирилл Белозерский, Соловецкие защитники. Брось топор, голубчик, перекрестись, миленький. Ой, не подходи, пощади, разбойничек...

Купец побежал по лавке к божнице за стол, в ужасе закрывая одной рукой лицо, а другой отмахиваясь от Ивана.

Иван бросил в угол топор и едва ответил ему:

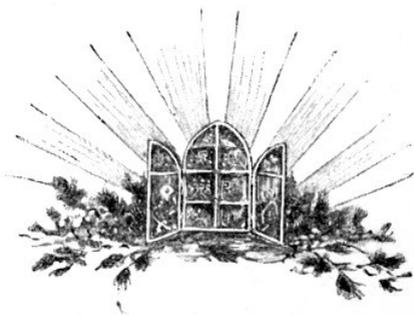
— Меня убей, меня ты убей. Легче будет. Послушай, не трону тебя, не бойся, недостойн стоять перед тобой на коленях, окаянный нечестивец. Убить тебя хотел. Видимо-невидимо загубил душ православных... Злобу на тебя поимел над всеми злобами. На деньги твои дьявол навел... Прости

меня... Никола Угодник спас тебя. Только зарубить тебя хотел, топором махнул, а он... и явился.

Когда разузнал купец от Ивана все, как было, задрожал, затрясся весь и закрестился. Потом расстегнул ворот у шерстяной рубашки, отстегнул пуговицу потайного кармана и достал складень старинного медного литья с Николаем Угодником Мирликийским.

— Батюшка мой, — воскликнул купец, — тридцать лет носил Тебя на груди, от папаши по завещанию носил, дедов, прадедов Ты оберегал. Душу мою спас и убивца. Ему Ты явился в видении, ему и передаю Тебя.

Бережно взял Иван дорогой подарок, не смел прикоснуться к нему губами, а только смотрел на него, не отрываясь, и горестно рыдал, сидя на полу.



**Пимен Карпов**

**ОТШЕЛЬНИК**

Илл. С. Лодыгина



## I

За рекой горели огни деревушки, лаяли собаки, парни горланили песни... Максим, лесной отшельник, прислушиваясь в надречной землянке к шуму гульбищ, к голосам незнакомой жизни, молился о душе... А с молитвами разжигаемые лукавым, жуткие заползали в сердце вопросы... «Куда это собрались парни? Уж не к Анисье ли в лесную избушку? О, Господи, пощади окаянную душу! Очисти!»

Над лесным обрывом в избушке на курьих ножках вешавала о житье-бытье мужиков, сводила с ума деревенскую молодежь молодая колдунья с голубыми глазами и золотыми косами, Анисья, к ней, знать, переплыв в лодке реку, и брела ватага теперь...

Опутал молодежь старый лесник, отец-то молодайкин. Да и дочь свою опутал нашептами древними да наговорами. Он как будто и простой человек, он, знай, караулит лес, да песни распевает старые, но вовсе чертяка он доподлинный был, одно слово, леший. Брал скупно за дочь с проезжих купцов, шабашил по ночам с нечистью, опутывал души праведных...

Уж на что Максим зорек был и строг за собой — а и его опутал старик. День и ночь творил отшельник в глухой землянке пламенные молитвы, держа пред собой золотой наперстный крест игуменский, ратовал за мир христианский. А за дверью колдовал, распевал песни языческие старый лесник, мутил воду в святом живоносном источнике. И хохотала звонко да искристо дочь лесника...



Вот и теперь — только и слышать, что лютые песни лесные буйной ватаги. А у двери юлил уже, кропя себя заклятым ересным зельем, старый леший — некуда от него бежать отшельнику!

## II

Каноны, ладан, свет лампад, богомольный цветок вешний на окне — все это оглушило вдруг старую облезлую голову лесника. Но, понатужившись и древними зачуравшись седыми заклятьями, одолел-таки колдун святое место, пролез в красный угол землянки.

И тут его совсем уже присадило. Под красным кутом за свечами да крестами нельзя было и передохнуть... Делать нечего, пришлось старику лезть в запечье. Страх уже на него напал. «Не уйти ли подобру-поздорову? — кумекал он, — искутить праведника, — не так-то легко... Не потрафил — ну, и поминай, как звали... За каторжной этой работой — искушением праведников, — не один, гляди, чертяка сложил голову...»

Обида кровная у старого лесника на отшельника: проработал над ним, можно сказать, целое лето, работал прочно и добросовестно, все способы испробовал, и все — без толку: отшельник и не думает впадать в блуд, напротив того, всеми правдами и неправдами норовит в царство небесное проскочить.

— Ну, это, брат, шалишь. Не на того наехал, — шепчет себе в бороду лесник, а отшельник, притихнув за аналоем, все это слышит, да запечатлевает в сердце своем.

И кается в душе Максим: возврата нет, душа-то уж обречена, раз впущен в святое место леший. Господи, пощади окаянную душу! Очисти!

Лешие недаром слывут самыми страшными и злыми прихвостнями Антихриста... Тощ и лядащ лесник, а лютости и зла у него — непочатый край; сразу видно, что смрадом своим зальет он душу отшельника светлую — не увидит ей потом уже солнца во веки веков! А у Максима и без того висит на вороту куча смертных грехов: богохульство, гордыня, убийство, воровство, похоть, клевета, ложь, зависть... Уж без этого и праведник — не праведник...

А теперь, должно быть, не миновать отшельнику и последнего греха, незамолимого: христопродавства.

### III

Но, сотворив молитву «Да воскреснет Бог», осмелел праведник, поднял святое кропило. Окропил светлыми струя-



ми иорданскими углы землянки... В запечье сморщенный закоптелый старик, поперхаясь, заскулил вдруг нудно, закрыл чекменем от живоносной росы облезлую свою голову, да и ну ересным зельем Максима околдовывать!

Не пронять все-таки Максима-праведника зельем, — одно слово, отшельник.

Тогда, покумекав малость, пустился старик на хитрости. Повалился на землю, ударился плашмя, завыв жалобно:

— Хворь одолела... Умираю... Помогите, отче праведный!

— Изыди, нечисть! — обдаёт его отшельник целым дождем иорданских брызг. — Да воскреснет Бог и расточатся врази его!.. Изыди, дух тьмы!..

Гонит кропилом лешего за порог, шепчет молитвы. А старик, в нуде истощ-

ной, свернувшись в клубок и корчась от боли, воеет глухо, стонет, пуская изо рта кровавую пену:

— Задушил!.. Ой, тяжело!.. Смерть, моя!.. Не губи, отче праведный!.. Дай живота, а не смерти!.. Вытащи меня из кельи святой!.. Спрячь кропило! Дай живота!..

— Да я же кроплю тебя живоносной водой!.. — говорит Максим. — Живи!

— Кому живоносная, а мне — смертная! Смерть моя! Задыха... юсь...

Жаль стало лесника затворнику. И хватает праведника за душу раскаянье — зачем забидел нечистого, — не миновать теперь Божьего гнева...

Откуда ни возьмись — молодайка, лесникова-то дочь, Анисья — тут уже, на пороге кельи затворниковой вертится, — греет жарким дыханьем старика, ласкает его. А сама искоса глядит на Максима, улыбается, изгибаясь, шепчет ему кротко:

— Папаня мой как убивается... И что с ним — ума не приложу... Нечистым духом считает себя... Статочное ли это дело?..

Отшельник загляделся вдруг на молодайку. Затаил дух, пораженный лютым каким-то голосом, что заговорил в пылком его чистом сердце...

— Господи, очисти!.. — затрепетал он в знойном трепете, страстном. — Зачем она пришла?.. Испытание одно... Господи, укрепи!..

А гибкая Анисья потягивалась, разливая колдовской синий яд из синих глаз, шептала все так же вкрадчиво:

— Вздыхаешь?.. Ох, люб ты мне, Максим... Знаю, что святой ты, пропадать мне через это в пекле, ну, да что ж



делать!.. Целовать хочу тебя!.. Хороша я, чай?.. А?..

— Хороша... — глухо и не помня себя, сказал отшельник.

— Поцеловать?.. — тянулась к нему знойная молодая колдунья.

Максим отступил к красному углу, крестясь и шепча яростно:

— Отойди, исчадие ада!.. Да воскреснет Бог и расточатся врази его!.. Изыди, дьяволица!..

Но Анисья все-таки обхватила жаркими дрожащими руками Максима, закрутила его, люто поцеловала в губы — чересчур уж жарко поцеловала...

У отшельника голова закружилась, ухнуло куда-то в преисподнюю пылкое, одурманенное сердце...

#### IV

Не помнил он, куда ускользнула Анисья, только, открыв глаза, увидел, как старый лесник, наклонившись над ним, с налившимися кровью глазами, подводит к груди его острое шило, шипит ядовито:

— Мы те покажем, как обличать нас на народе да травить нас, выжига!.. Держись-ка... В другой раз не станешь обличать...

Штырхает острым шилом в грудь Максиму, сдавливает горло, а вокруг рычит уже остервенелая глухая ватага парней, засучивает рукава — давно они добирались до отшельника, добрались теперь, разорвут, как пить дать...

Онемел отшельник; хочет кричать «Да воскреснет Бог», хочет стыдить мучителей — и не может: огненная волна пыток захлестывает его, сжигает. И сквозь лютую огненную страсть кровавую слышит он, как бахвалы, топча его ногами, прикрывают:

— Не ябедничай, сукин сын!.. Не трави!.. Себя спасай, а других неча путать!.. У-у... паскуда ядучая, ехида!.. Души доглядимся!.. Потому, ты нас доел проповедями этими самими... держ-и-сь!..

А дальше ничего уже не слышал Максим — все слилось в сплошной кровавый клубок мук и жуткого мертвого кошмара...



Когда перед рассветом исколотый, разбитый, окровавленный весь, открыл усталые больные глаза отшельник, едва дыша и слыша, как жизнь медленно гаснет в нем, — над ним уже какие-то старики в скуфьях и черных подрясниках держали на руках его, отливали живой водой.

— Мы — монахи из соседней пустыни... — говорили старики в скуфьях. — Пришли поклониться тебе, отче праведный. А тут — вот... злодеи... Ну, да мы главного-то связали... вон он лежит... Не уйдет теперь!

Поглядел в порог Максим — точно, лесник лежит скрученный, крихтит.

— Что с ним делать, окаянным? — спрашивают монахи, указывая на лешего.

— Отпу...стить... — чуть слышно говорит отшельник.

— Что?.. Отпустить?... — всполошились монахи. — Да он всеравно тогда нас решит с своей ватагой... Нет уж, отче, мы сейчас отправим его в стан, а там пускай шлют, куда полагается... пускай судят по закону... нешто можно разбойничать, да еще в святом-то месте?!..

— Отпусти...те... — повторил праведник.

Тогда повиновалась братия, отпустила лесника. А тот, раскрученный, — нет того, чтобы скорее уходить, но, напротив того, лезет в красный кут, бахвалится, выпятив грудь:

— Что, выкусили?.. Не на таковского наехали!..

И, кивая на полуживого Максима, ехидствует:

— Думаешь, простил меня, так и спасен?.. Как бы не так?!..

Забыл разве, что Христа продал?.. Погляди в окно!

Поднял глаза к окну землянки отшельник, видит: к окну склонилась улыбчивая лютая молодайка — крестом золотым, снятым с праведной отшельниковой груди, прости Господи, маячит...

Кивает русой головой из-за окна, хохочет:

— Ха-ха!.. Не праведник ты теперь, а шишига лесная!..

Оборотень!..

Взглянул на себя Максим да и помертвел: одежда с него вся содрана, тело все в черной руде, волосатое, грязное — точь-в-точь, как у лешего. Уж и впрямь, не оборотень ли он?

## V

А лесник, как ни в чем не бывало, кадит уже по келье ересным зельем, шепчет жуткие какие-то заклятья да, почесывая себе брюхо, ехидствует:

— Знаем мы этих праведников!.. Поставит келью под елью, да и ждет, чтобы к нему девки ходили... А по народу думу пускает, будто для ради души исповедует, да целует девок... Ан вот поцеловал давеча — кивает в окно леший, — и душу продал... крест отдал за поцелуй бабий, Христа продал...

— Засть, иродово семя!.. — кинулись на него монахи. — Человека убил почти, да еще смеешься над ним!.. Вязать его, братие! Колоду на него!

Монахи кинулись на колдуна уже с веревками. Но Максим остановил их скорбным страдным взглядом, промолвив печально:

— Да, я продал Христа... Похоть помутила мой разум... Я поцеловал женщину... дьяволицу... И она сняла с меня золотой крест игуменский... Христа я отдал, крест Христов

— за поцелуй... А все — леший опутал меня... Кабы не он, я бы крепился... Я бы не устал молиться!.. Но он пришел ко мне в келью... и я пропал...

Заплакали горько монахи-старика над Максимом: пропала душа праведника ни за что, ни про что. Да что ж делать: христопродавство — грех незамолимый, возврата к свету нет брату Иуды!

Плачет, едва дыша, и Максим, прощается с белым светом, убивается.

— Тяжко мне! Люто мне!.. Продал Бога моего... Прощай-те... Смерть моя...

А все же, прощаясь с Божьим светом, благословил отшельник братию, цветок на окне вешний. Поднял живонное кропило, окропил им углы кельи в последний раз, прошептав древнюю какую-то молитву предсмертную.

И вдруг красный угол кельи просиял светом незаходимым...

Завыл тут окованный светом леший на месте святе голосом истошным и безнадежным. Забился в нуде смертной:

— Вот, когда я дошел... Капут мне.

Свет предсмертной молитвы грешника, роса живонная, знать, сокрушили нечисть, победили...

— Зады...ха-юсь!.. — вопил, корчась от света и живой воды, леший. — Спасите!..

И опять жаль стало его измученному и отверженному праведнику...

— Хоть и леший, а все же живая душа...

И молит уже в сердце своем отшельник Бога слезно, да отпустит Царь света вражину на волю... Тяжко, поди, лешему в святом месте... Чертяке без болота — все равно, что праведнику без царства небесного. Господи, смилуйся над лешим! Господи, прости ему его каверзы!

Молит отшельник, а старый леший крутит облезлой головой, корчится, шипит змеино:

— Молится!.. За меня!.. Я душу его кончил... А он... Дуррак!..

И люто хохочет...

— Ха-ха-ха!.. Дуррак!.. Не клянет, а молится!.. Ха-ххаа!..

Говорит едва слышно Максим:

— Мой Бог заповедал молиться за врагов...

— Ну да, чертяка я, это верно, вражина, одно слово... Да ведь я тебе ж ребра попереломал!.. Грудь исштырхал шилом!.. А ты молишься?!.. Ведь я же наслал на тебя парней!.. Вражина ведь я?..

— Вот я и молюсь за тебя...

Едче, лютее закатывался лесной старичище:

— И ты думаешь, я буду помилован?..

— Мой Бог всех прощает и милует, — кроткий был ответ.

— Ой ли, всех?

Корчится, лютует в белых лучах незаходимого ангельского света старый леший, харкая в лицо отшельнику:

— Ты — жулик!.. Как будто мне молишь прощенья... а выходит, о своей только душе заботишься!.. Вымолю, дескать, врагу своему прощенье, ну, и сам буду прощен. Ан врешь, — Иуду-то Бог не простил!.. Да и разбойника неблагоразумного — не простил ведь?.. То-то и оно-то!

## VI

За лютой болью, за муками души, отверженной, продавшей Бога — не разобрал дальше Максим, что изрыгал леший, но сам запомнил одно, — Иуда Искариот, христопродавец, да и разбойник неблагоразумный — прощены Распятый, очищены. Не мог же Распятый делить грешников на прощаемых и непрощаемых! За всех Он пострадал, всех очистил, всем безнадежным дал надежду, всех умерших в смраде и тьме — воскресил.

— Иуда прощен... — твердил, едва слышно, в горячем последнем бреду, отшельник. — Разбойник неблагоразумный — в раю. Всех благословил Бог мой!..

— Ха-ха-ха! — извивался в корчах леший. — Недоставало еще лжи!.. Теперь и она налицо!.. Недаром дьявол — отец лжи. Отшельник — дьявол!.. Ха-ха-ха!..

— Господи, прости ему, не ведает, что творит... — молился в страстном последнем бреду отшельник за врага рода человеческого, за лешего. — Господи, отпусти его на волю, в леса!.. Прости ему его каверзы!..

Услышал Бог молитву умирающего пустытника, прю его с нечистым духом. Положил Господь в сердце своем: да будет прощен и враг рода человеческого! Да будет дарована ему радость, какая положена от века нечистому.

Ну, и снял Господь оковы света с лешего, выпустил из места свята чертяку на все четыре стороны.

То-то была пляска у облезлого!

Да и как не плясать: душу сгубил праведникову, а он еще за лешего молитвы творит, спасает его, а себя губит. Ну и дурак! Ну и простофиля! Жить ему осталось — до зари, а он даже и покаяться перед смертью у отцов-монахов забыл, все молит Бога за чертяку...

Отшельник, отмолив, затих сам, закрыл глаза замертво. Почернела, окаменела его душа: Христа продала: этого уж не замолить; в этом не раскаяться, не посметь с этим нести душу перед смертью на исповедь... Крест-то игуменский — у лесовухи... Проклятие смрадному хриstopродавцу! Вечная ему пытка! Смрад! Тьма!



А зорями потаенными, росными прилетали в келью ангелы светоносные, оевали отшельника белоснежными своими крылами...

И сам Царь Славы, возложив на грудь Максима золотой его игуменский наперсный крест, венчал праведника нетленным венцом вечной жизни — за то, что сотворил жаркую мольбу за врага рода человеческого, за чертяку.



**Пимен Карпов**

**АНАРХИСТЫ**

Илл. К. Коварского



# I

В горах скрывались спокон веков под глухой хвоей древние отреченные молебни монастыря, каплицы, скиты... Теперь там все разрушено огнем и поломано. Но дух отреченной, проклятой Богом и людьми, отверженной братии не сломлен.

Над братией главенствовал странник Серапион, хитрый седобровый старик с темным лицом и колким замутненным взглядом. Как-то, собрав кормчих в старом Нагорном скиту, строго настроено приказал он им:

— Коли ежели анархисты придут к нам в монастырь, то встретить их честь-честью. Не фардыбачиться!.. Отнюдь!.. Наше дело любить, а не драться... Любите врагов и не противьтесь злу... Так ли я говорю, други-кормчие?..

Молча перебирали четки кормчие. Переглядывались угрюмо, да глухо кричали, хмурясь:

— Любить врагов! Безбожников!.. Эх хватил!.. Так разве это враг?.. Слизняк это, а не враг... Недостоин быть врагом хулиган. Так кумекаем.

Спокон веков цветет Русь, и сирый, благостный Царь Славы — Христос — блюдет на родимой земле крестный дух голубиной радости и услады... А слизняки зарятся загасить

дух? Но полноте. Загорится Русь жизнью и бурями, чистые сердца пойдут на костер, дыхание огня пронесется во все концы земли.

— Молитесь же за ненавидящих вас... Согласны со мною?..  
— юлил старик. — Я знаю, что говорю...

— Все я, да я!.. — зароптала вдруг братия. — А мы? Мы сами знаем, что нам делать!..

— Ась?

Светлоглазый высокий Гавриил, тряхнув русой завитой гривой, встал, шагнув к страннику, прогудел:

— Помутил ты нас, брат, вдоволь, а теперь — стоп!.. Наша правда теперь.

— Ты! Гляди у меня! — стукнул Серапион посохом.

— А я и гляжу... Битва не на живот, а на смерть!.. Какие там анархисты?.. Хулиганы это из городов!.. Не рабочие это! Бич!.. Может, мужики подспеют... А Спасителивы слова о непротивлении, полагаю, к тому... чтобы не трусить перед злом, не закрывать глаз... не бояться зла... зло не заслуживает того, чтобы ему противились... А просто его надо уничтожать!.. Как и врагов любить Спаситель велел, понимаю так, достойных... не таких слизняков, что растлевают детей... Огонь снес Спаситель на землю... Не мир, но меч!.. — шагая по келье, гремел Гавриил. — Так ли я говорю?

— Ты, стало быть, зачинщик?.. — заерзал Серапион, подымая правую седую бровь и щуря мутный глаз. — Когда так, то скажи, прок-то какой?.. Из битвы-то польза какая, а?..

— Тебе все пользы! Нам правда дорога, а не польза... За душу свою мы будем стоять!.. За души ближних!.. Так ли?..

— Не так, постой...

Но зашумела, замахала на странника руками, похмелев вдруг, буйная братия:

— Разить нечисть — и все тут!..

— Нечисть?.. Вы сами — нечисть! — встал вдруг Серапион. — А к нам придут доподлинные анархисты... И я уничтожу с ними Бога!.. Я сам теперь Бог!.. Аз есмь Альфа и Омега...

— Антихрист ты... — дикие, разъяренные, подхватившись, закрывали по углам мужики, закурили головами свирепо.

## II

Темнолицый, мутноглазый Серапион никого не пускал в свою келью. Многие говорили, что в келью Серапиона часто кликуши ходят на совет, потому-то она и была для братии закрыта, и старик по неделям там пропадал, не показывая глаз.

А теперь это было и к лучшему: Гавриил, собрав мужиков окрестных деревень, укрепил обитель. Понарыл за обрывами и стенами рвов и ям, попереташил сюда загорожи, пообколол выступы обрывов. Оставалось только завалить гранитом-камнем подходы к горе, над чем и старалась братия, а больше всех — Гавриил.

За старой каменной оградой, в ельнике, как-то обглядывая лесные проходы, встретил Гавриил молодую женщину во всем черном, с серыми, грустными и дикими глазами, в черном покрывале. Должно быть, она тут подстерегала его, потому что еще издали, завидев его, побежала к нему, мелькая между елей, навстречу. А потом, подойдя к нему почти вплотную, схватила его огромную руку, погладила ее нежно-доверчиво:

— Я измаялась... — вздохнула она. — Вы меня не проводите?.. до кельи... старца... Серапиона...

Глаза ее подернулись томной поволокой, голова склонилась на плечо высокому светлоглазому кормчему.

— А вы кто будете? — слыша какой-то странный звон и нытье в сердце, держал Гавриил прикишную к нему женщину в черном. — Я вас впервые вижу... Не упадите, осторожнее...

— Я — несчастная... Все мы несчастные... Мы — анархисты... Разоряем монастыри, церкви... Уничтожаем Бога... Нас призвал ваш... странник этот Серапион... Идемте все

за нами!.. За мною!... Я сею раздор... Радуйтесь.

— За... тобой?..

— Д-а!.. Страшное что-то чую я... Беды идут... А-а!.. — подняла она глаза, детские, дикие, улыбнулась, подставила полураскрытый жаркий рот. — Целуй!.. Конец свету!..

За всю свою светлую, богатую солнцем и радостью жизнь впервые услышал Гавриил, охмелев, стук горячего, дикого женского сердца, нежный прерывистый шепот, узнал, что такое жар и трепет поцелуя. В сердце его, пьяном страстью, звенело и гудело, он одно только знал, что он тут не виноват, разве виноват лист, упавший в костер? Но так кормчий и не понял все-таки, женщина это или дьявол. Только люто сладки ему были ее торопливые ласки, дрожь и огонь щек, а тут же и хватало за сердце: зачем ей нужен был старик?

— Вы шли... к Серапиону?.. — Гавриил сжал ее всю, как бы мстя за что-то обидное и горькое. — Зачем вы шли к нему?..

— А-а!.. Я знаю все... Я кликуша... Ты — будешь главенствовать над толпой... А старик сгорит... и я сгорю... я знаю, кто такой ваш... старик... я его люблю... И тебя... — билась в тоске женщина у ног Гавриила.

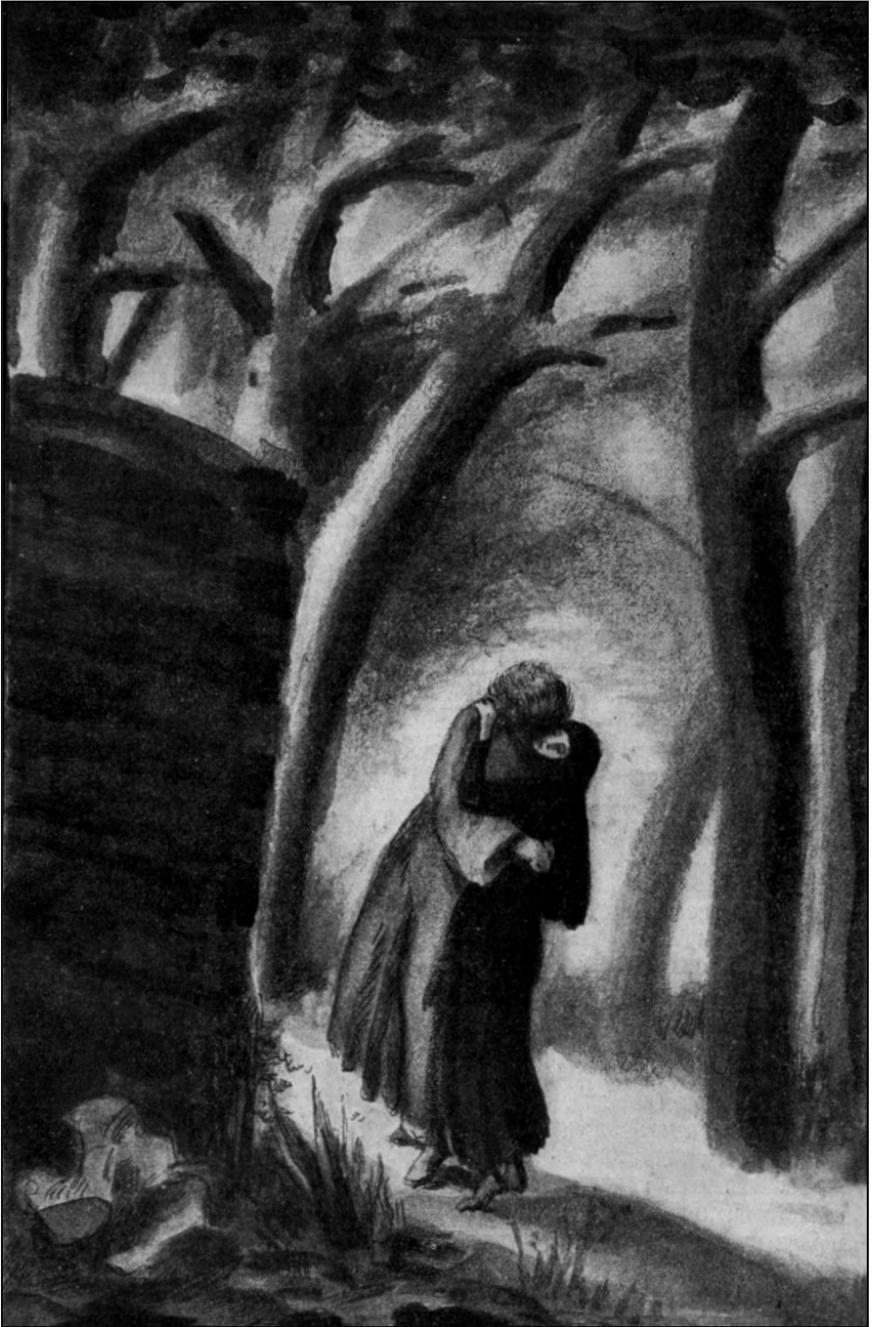
И они, сплетшись горячими и дрожащими руками, кружились в нескончаемом больном поцелуе, безумствуя, и страстный, дикий шепот любви смешивался с шелестом хвои...

А под обрывом ухаля братия, грохотали камни, стонала земля, чуя кровь...

### III

Шел отдаленный гул и треск выстрелов, как будто целые каменные горы дробились и падали друг на друга.

Птицы, звери и люди, обезумев, прятались в пещеры, вблизи же прямо неслись в огонь и гибли.



В красном дыму, точно в крови, плавало солнце. Под ним жутко и хищно жужжали, кружась над добычей, орлы. Как черные факелы, пылали села. Но, точно звезды на земле, все так же цвели цветы.



А в Нагорном скиту торжественно гудели клики и гулы. Обитель захватывали уже бури, ужасы и дерзновения, и любы ей были бедные человеческие сердца — языки надмирного огня. Бог положил предел силе солнц, но не положил предела силе человеческих сердец. Страшно Творцу глядеть на разрастающийся непобедимый пламень, брошенный им в человеческое сердце... Даже в обители цветов, вер и тайн заговорили языки бездн и открылась радость в ужасе...

Собирались вереницы расслабленных, калек, убогих, слепых, прокаженных, растерзанных жизнью и роком. Толпы разоренных мужиков, двигаясь с дробовиками, косами, вилами, самодельными копьями, охваченные глухим огнем ненависти, засаживались за валами и бойницами и ждали...

Ночью, когда грохот выстрелов, подойдя уже к ущельному лесу, слился с гулом деревьев, в сумрачной старой мельне, запруженной толпой, Гавриил, потрясая древние своды, как власть и благодать имеющий, бросил иступленный и вдохновенный клич, клич солнца, любви, ненависти, огня:

— Враг близко... Братия!.. Лучше смерть, чем рабство... Мы не трогали никого... нас невесть за что жгут и разоряют... Ненавидьте же! Только тот любит, кто ненавидит... Мы сами... анархисты!.. А хулиганов нам не надо!..

Мужики, теснясь под душными, низкими сводами и давя друг друга, тянулись к кормчему изможденными лицами и подхватывали радостно:

— Умрем, а не отдадим Нагорного скита!..

— Не слушайте его, рабы Божии!.. — взвизгнул, высунув из двери голову, позеленелый Серапион. — Я — старик... и... я запрещаю его слушать!... Мы должны поднять бунт против Бога!.. Чтобы небу было жарко!.. Довольно мы натерпелись — уничтожим начальство! Бога! Веру!.. Будем вольными атаманами!..

Но братия, обступив Гавриила тесным кольцом, кричала, грозя Серапиону:

— Говори, брат Гавриил! Будем слушать!

— Рабы Божии... Какие мы рабы?.. — спрашивал Гавриил. — Разве Господу угодно рабство?.. Довольно!.. Лицемерам место в пещере, а не на солнце... Мы, братия, сами будем править собою... Не надо нам указчиков!..

Тревожно металась братия. А Серапион, торча в дверях, утрюмо перебирал четки, супил седые брови. В тусклом свете свечей темные колючие глаза его вспыхивали медленными искрами. Но вот он, как бы вспомнив что-то, стукнул посохом и прохрипел:

— Бунтовщик!

В страхе отскочил вдруг за балдахин и уже оттуда, скаля гнилые зубы, брызгал желтой слюной:

— Даже и дьявол не возмутил бы так братию... как ты ее возмутил... Ты... исчадие ада!..

— Да! — потрясал Гавриил громовым голосом моленную. — Дьявол только мутит... А мы возмущаем... мы ревнуем о вере, о чистоте души... Кто стал бы раздувать огонь, брошенный Богом в сердце человека, если бы не мы, возмутители?...

Частокол костлявых загорелых железных рук, вытянувшись, повис над предамвонной решеткой, грозя Серапиону смертью:

— Разорвать Антихриста!..

Но Гавриил крикнул:

— Идите на ограду!..

Грозным шквалом загудела и заклокотала в вечерней, скупо освещенной, моленной, ища выхода, ярая толпа.

#### IV

Серапион метался по моленной с какой-то тяжелой сумкой под полой рясы, маялся: некуда было выйти.

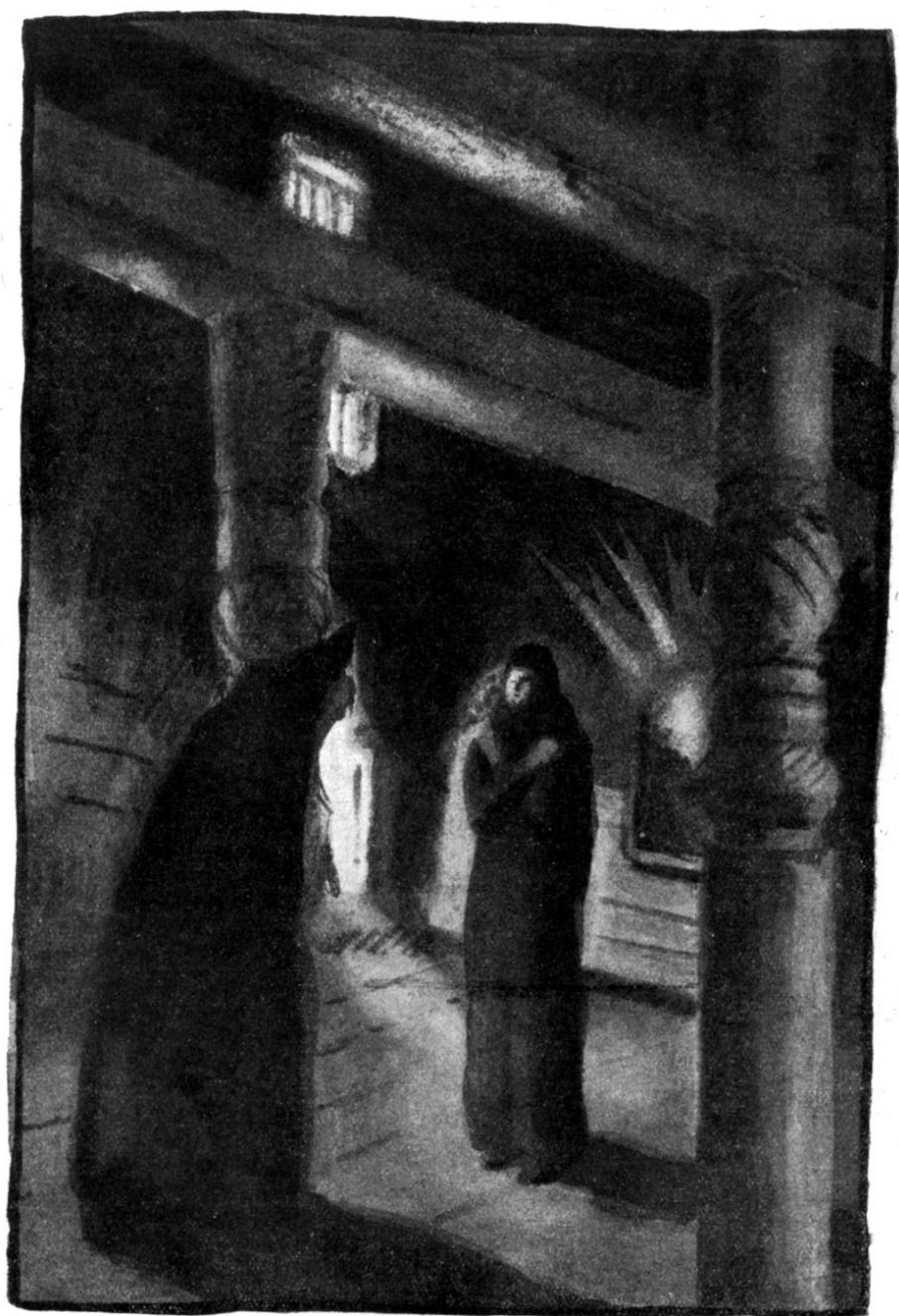
Вдруг он, выглянув из за двери, остановился: в сумраке, облитая светом лампад, грустная стояла Несчастливая с раскрытыми дикими серыми глазами-провалами — кровь его и любовь, жертва и радость...

Темный строгий плат обхватывал ее туго. Женщина дышала глубоко и часто. Из за колонны Серапион не сводил с нее глаз.

А она все крестилась, потом же, протиснувшись, поднялась вслед за другими к кормчим. Поцеловала, как и все, руку Гавриила и вдруг упала на колени:

— Вы потрясли меня... — рыдала она и смеялась. — Простите... благословите...

Гавриил поглядел на нее. Но, как и раньше, не узнал, дьявол ли это или женщина.



— Несчастливая я... — тихо стонала женщина. — Мы пришли в этот мир... чтобы убить Бога... убить веру в душе...

Подскочил обезумевший Серапион. Взгляд его был совершенно бел от бешенства и боли. Руки у него тряслись и глухо скрипели зубы.

— Убью!.. — заревел он вдруг, бросившись с кулаками к женщине. — Ах ты стерва! Ты — за меня или за них?.. Зачем раскрываешь ему все?..

Но она, встав, обхватила крепким кольцом рук шею Гавриила. Застыла в тягучем поцелуе и шепнула:

— Прими беды!.. Возмутись!..

Черной змеей извернувшись, где-то в толпе затерлась и пропала.

## V

Огонь и железо! Гудя, разрываясь, уже крушат стены, опаляют скалы, косят лес, — огонь и железо. Под древними полуразбитыми дубами обрыва, где лишь орлы да вещие филины били о сучья крыльями и перекликались глухо по ночам, бились угрюмо и молча в рукопашной остервенелые иноки. Мужики, кто камнем, кто обухом, как только над каменным валом и над стеной показывались освещенные пожаром громилы, сбивали их с разгону под обрыв. И они выли и ахали; и оттуда, где они падали, круша все и паля, шел хрип.

Наступала ночь, и в бездне разгорались звезды-костры, — не костры ли сердец, дерзновения бурь? Когда же огни сердец сольются в пожар, сокрушающий смерть? О, демоны огня, возмутители правды, напрягайте силы! Сейте ненависть во имя любви! Взрывайте бездны, хаос, тьму!

Вдали воеет, заливаются песня бойни. Горят деревни. Огненные волны, вздымаясь, захлестывают небо кровавым, жутким заревом. Мужики глядят туда и, дыша гневом, бьются, бьются в ужасающей рукопашной. А сами хохочут, хохочут... Какая же радость в муках?.. Великая радость! Не

забыты мужики язвами! Мором! Голодом! Огнем!

Боже правд! Нет конца милосердию Твоему и долготерпению. С высоты своей не забываешь Ты избранных своих и любимцев-хлеборобов. Вот, поля их выжжены и выбиты; души поруганы. Благословенна страшная и недоступная десница Твоя — знак Твоего благоволения к избранным! Ты Сам был на кресте!

Потому-то они так и ненавидят, и клянут все и вся, и мечутся в смертной битве, и ложатся костью: поздно беречь жизнь, когда обрушились кары.

Но вот, последний удар — и серые редкие ряды громил дрогнули, закопошились под обрывом, как тати, поползли назад, обливаемые красным отсветом пожара.

А иноки с ревом погнались за ними.

— У-р-ра-а!.. — грозное пронеслось над скитом и беспощадное. — Гони-и!.. Круши нечисть!..

Мужики с братией как будто не верили победе, ошеломленные, растерзанные, истекающие кровью... И вдруг поверили, и стоны радости, и молитвы, и хвалы далеко над холмами разнеслись, и ликующе загревели победные клики.

Но в ограде гудели, охваченные огнем, храмы монастыря и кельи... Толпы мужичьи, захватив дреколья, топоры, вилы, двинулись к келье Серапиона, окутанной дымом, откуда чей-то пронзительный голос выкрикивал:

— Вот она, стервуга!.. Антихристова полюбовница... В огонь ее!.. Чтобы не мутила тут нашего брата... проклятая!..

— В огонь паскуду!.. — ревела толпа.

— Я ее тут привяжу, братцы, а потом подожжем ее!

— Так ее, вяжи!

— Подожди!.. Може, ошибка!.. — надрывался кто-то, протискиваясь сквозь толпу. — Кто ее поймал?..

Но глухим и недобрый гулом прокатилось по толпе:

— Молчи!.. А то и ты там будешь!..

Навстречу мужикам кричал хрипло и отчаянно растрепанный, дикий Гавриил:

— Несчастливая она... Из города, вишь, пробралась сюда... Кликуша она... Братцы!..



— А-а... так ты отстаиваешь?.. В огонь и его!.. Коли бабе поддался...

С ревом, гиком и проклятиями обступили мужики Гавриила, бледного, как смерть, подхватили его на кулаки:

— В огонь!..

Откуда-то выскочил трясучий Серапион, — залебезил перед толпой, заюлил:

— Я давно говорил, что с Гаврилою надо ухо востро... Вишь ты— отпирается... Так его, в огонь!.. Чтобы не отпирался... А мне, братцы... Не дайте смерти, а дайте живота... — колотясь в лихорадке и целуя руки мужикам, хрипел и надрывался он. — Каюсь!.. Я прелюбодей... Жил я с врагом рода человеческого... с черной женой... Каюсь, братцы!.. Простите, яко разбойника... А-а-х!..

Толпа отхлынула от Гавриила и, вдруг остервенясь, окружила старика. Раскачала его за руки и за ноги, да и бросила в провал пылавшей кельи. Кто-то больно и надорванно крикнул, кто-то глухо заголосил...

А мужики клокотали и бурлили. В молельне звенели разбитые стекла, змеей ползло жадное пламя по стенам... Туда летели дреколья, камни, головешки.

— А де она там, шкуреха-то?.. Не ушла ль?... Камней, камней подноси, эй, хто!.. Ай, ушла!.. Дьявол и есть!..

Гавриил, раненый, истекающий кровью, пожираемый каким-то лютым огнем, метался, высоко подняв голову, точно неся ее на плаху, и сердце его заходило, а безумие охватывало душу: все разбито, все сожжено...

— Ах!.. Тушите, что же это такое... Ах!..

Но никто на крик даже и не повернул головы, и кельи гудели и коробились, залитые пламенем.

Когда огонь охватил верхний этаж кельи, Гавриил, глядя туда издали, ахнул: спускаясь по углу, трепыхалась растерзанная женщина с обезображенным муками лицом, с расширенными до безумия глазами, дикими и как бы выжженными. Кричала дико:

— Отомстила!..

— Ушла!.. А-а, ведьма... змея... — заревела толпа. — Дьявол!.. Чертяга!.. Провалилась в тартарары!..

Забыв про все, кинулся окровавленный, обезумевший Гавриил по лестнице в келью, закрывшись полами поддевки.

— Надо спасти!.. — неся его задушенный крик. — За мною!.. Мы — анархисты, а они...

Но тяжкий камень ухнул вдруг откуда-то ему прямо в раненую грудь... В глазах у него, точно вихрь ядовитых стрел, вспыхнули яркие зарницы...

Не помнил уже он, как выхватил из огня, из подвала обожженного, задыхающегося старика и полумертвую кликушу... Только смутно расслышал сквозь безумие и боль сиротины глухие крики радости, спасения, восторга:

— Не искушай нас!.. Мы разъярили чистых сердцем!.. На борьбу!.. На огонь!.. На радость!.. Да благословится ярость!..

И старик, вырвавшись из рук Гавриила, закрутился в безумной пляске, а потом, разогнавшись, ринулся изо всех сил в бушующий ураган огня...

**Пимен Карпов**

**ЗАПОВЕДЬ СОЛНЦА**

Илл. Г. Георгиева



## I

Под сизыми зорями гадал Софрон о Кирилле. А звезды полыхали в закатной темени, заходили, прощаясь с полем.

Софрону верили все, как Богу. Да и как не верить: потайную заповедь знал. Только слова Софроновы не всяк раскусить может заговорные.

Невесел что-то Софрон. А бывало — о радости только и твердил. Теперь же радость Софрону — не радость. Разгорайтесь, пророчьте радость, звезды! Сын, красавец-первенец Кирилла, на войну от Софрона ушел, да и — ни духу. Но это Софрону испытание. Не забыт он звездами! В поле, в лесу поет песни, беседует с Богом.

А в черной хвое, за хатой Алена-то, любжа Кирюхина, как убивается...

— Ну, што воешь?.. — кричал на нее Софрон в глухую темень. — Надоела!

Маялась Алена:

— Не перенести мне горя-тоски... Не вернуть мне ясносокола, не обнять... Ах, чую, уж забыл он меня!.. Погадай мне о нем, отец...

— Крепко, поди, любила его?.. — пытал из-под стрехи вздохмаченный Софрон. — А все молчала, скрытница!

— Ой, крепко! — билась в хвое Алена, металась. — А теперь не увидеть мне его больше!.. Чует мое сердце!.. Ветер быстрый, неси ты мое прости-прощанье...

Подходил к Алене Софрон, кряхтел:  
— А ко мне чего пришла?..  
— Не мучь, вот что... — маялась Алена. — Открывай всю правду! Жив ли нет Кирюха?..  
— Радость будет, говорю.  
Стонала Алена:  
— Ой, то ли? Сны мне больно тяжелые снятся о Кирюхе...  
— Кирюха жив, — крутил головой Софрон. — Тяжко, по-ди, без него?  
— Ой, тяжело!  
Софрон протягивал в сумраке к темной да статной Алене руки, глухо дышал ей в лицо. А она отбивалась, маялась: — убит Кирюха! А может— жив? Сладко цвело и билось сердце: жив, будет ее целовать в лесу до пьяна, до сердца...

## II

Уже и бабы, окруживши хибарку, толпились у окон. Полночь шла. Молча вел баб Софрон на гору.

И, нарвавши в сосняке ночных цветов, загадывал. Все о том же — о лютой страде.

Много кое-чего знал Софрон. В сосняке пел песни земле, звездам и Богу. Гадал о судьбах мира.

Горе, горе миру лютому, незаконному. Пройдет по нему глад и мор, и сеча ужасающая. Ляжет костями четь мира. От востока до запада, от севера до юга протянутся борозды, а борозды те — могилы. Не вырастут цветы. А будет только в буре кружиться да каркать черное воронье. Горе миру тьмы!

— Ах, что-то говорит та звезда!.. — в темени тревожились толпы, подымая корявые руки к кровавой звезде. — Не заходи, звезда, не заходи!.. Рассказывай правду...

В глухом звездном свете раздавал бабам Софрон сумрачные цветы и разгадки:

— Што вам мужья?.. Наша земля вся зацветает, аки вешний сад!.. Вижу по звездам: туга лютая будет... А горе тому, кто в туге радость забудет... А только будет на земле нашей радость великая...

Вздыхала толпа, воздев руки. Молилась Спасу:

— Ты спаси, Спасе, землю нашу!.. Хрестьянство, мужиков, стало быть... Оглянись, Спасе!

А Софрон, уходя в осыпанную черемуховую заросль, бросал — загадывал:

— А будет солнце! Будут цветы!

### III

Солнце пришло в лесную деревушку, — весть-письмо, радость землякам: Кирилл ранен, да солнечен, домой едет.

Толпы баб и мужиков жадно двинулись, захваченные вестью, на чугунку — встречать Кириллу.

В золотом жнивье поле рыдало, полное осенних бурь. Дни и ночи грохотали поезда с солдатами. Приходили невесть откуда, катились невесть куда. А ветер развевал желтый лес осени...

В лесу глухой полустанок забит был солдатами, лошадьми.

Подходили мужики. Совали солдатам молча хлеб, гостинцы. Размахивали руками... Лесной ветер развевал широкие бороды. Уходил в поля, наполняя их глухим воем...

А в душном тесном вокзалишке галдели, толпились бабы. Кому-то, вздыхая, молились.

И вот, подошел белый поезд с красными крестами на стенах. Тревожные понеслись по полустанку крики: раненые. Толпы забурили.

Из заднего вагона вынесли Кирюху. Видно было только черное, как земля, острое лицо в пятнах черной крови, перевязанное белым, да белое покрывало.

Кто-то кричал:

— Скорее!.. Сдавайте!.. Поезд скоро отходит...

Бабы, ахнув, завывли дико и жутко. Мужики глухо закричали:

— Оттеда...

Оттуда, где души обожжены навеки.

Подошли раненые с перевязанными, окровавленными головами, бледные и как будто радостные. А видно было, что души их обожжены.

— Вы здешние? — спрашивали мужиков солдаты.

— Угу, здешние.

— Нам неколи. Поезд уходит. Мы что, мы разве страдали. Вот Кирилла, это — можно сказать, страдалец. А где ж его батька?.. Мы писали, значит, чтоб встречал сына... Вот и встретил — мертвого! А зато венец получит вечный. Судьба наша такая... Это ничего... Вечный венец...

Глуше, большее закричали мужики:

— А? Кого это понесли?

— Да Кириллу. Земляка вашего, стало быть. Убег он из лазарета, держали его, да убег... Чтоб побыть дома, да опять айда в огонь... А нам по пути, доктор смилостивился, взял Кириллу домой... Письмо мы даже с ним написали батьке, чтоб встречал...

— Да ведь он ранен только был!.. Читали мы...

— Был, да нету... Немцы, вишь, искололи его всего... Не вынес сердега...

В толпе баб перед Кириллом без крика металась, рвала на себе волосы растрепанная Алена, распростертая, брошенная, как сломанный стебель...

#### IV

Запахивали бабы на зиму поле. А до того засевали озимь и молотили.

Была тогда надежда на радость, да все рухнуло. Кирилла, вон, и домой убег, да не выкрутился. А если кто и приходил — был молчалив, обожженный черным огнем.

В соседнюю деревушку проходил как-то с чугунки ра-

ненный. Да хоть он и смеялся, а никто к нему не подошел. Так и ушел сердега, не пригретый.

Знали, отчего не подошли: видели нем выходца из ада.

Туту несли селяки о сынах, братьях, отцах. Глядели на солнце. А оно радовалось, плясало, как завсегда.

Из вечера в вечер, толпясь в поле у избушки, все кляли Софрона: зачем растравлял души надеждами?..



Алена долго где-то пропадала. А вдруг и она отыскалась. Темным-темен был взгляд ее.

— Говори... — подступила она суровая, грозная к кудластому Софрону. — Какая твоя потайная заповедь?.. Какое солнце?.. Радость?.. А твой-то сын — в могиле?.. Вот те и заповедь! Вот те радость!

Захотел Софрон и сказал:

— Не от меня эта заповедь... От солнца!.. Аль не поймете?.. Страда очищает радость... Муки нужны, чтоб радость была радостная... А смерть светлая!.. Што то за радость, коли я в холе... Коли я за логовом гонюсь... Как зверюка... А совести нету — солнца нету?.. Што то за смерть, коли я из-

дохну — не живши?.. Не горевши?.. Как червь... А?.. А на миру — что на огню — и смерть красна!..

— Молчи!.. Ты! — загудели в пороге толпы баб, замахали на Софрона кулаками. — Долго ль ты будешь мучить, окаянный?..

А Софрон протягивал к суровой, жутко молчаливой Алепе крепкие руки. Обнимал ее жарко:

— Радость великая будет, — дышал в лицо девушке глухо и горячо. — Возликует земля... А все от солнца!..

— Ведьмач проклятый!.. — визжали бабы. — Мучитель!.. Ворог!.. Бить его!.. А... — напирали они, рвали на себе рубахи, кричали остервенело.

Но ликующее наклонял в посеребренных кудрях лицо свое Софрон к жаркому лицу темноокой суровой Алены.

— А ты рада солнцу?.. А свету Кириллы рада?.. Придет он к тебе... В свете горнем... Потому — на огню помер... В свету... Жив он!.. Мы мертвецы... а он светлый жив!.. Рада?..

Губы Алены яркие запылали. Вздрогнули, что-то прошептали. Да сплошной бабий крик заглушил все.

И отцветала багряная осень, и лютая глушила уже землю дикая вьюга, выла по лесам жуткие песни. Под снегом догорали поздние цветы.

А Алена в белые уходила просторы. Из деревни в деревню, из хибарки в хибарку несла мертвым, оглушенным жизнью светлую заповедь — радость:

— Радуйтесь, сестры!.. Убитые встают из могил. Мертвецы — вы, а они — живы, убитые на миру, светлые... Живите ж и вы! Радуйтесь!

Когда же бабы пятились от нее в ужасе, она бросала в толпу гневно и грозно:

— Вы! Слизь несчастная! Вы не рады солнцу?..

— А ты не нагоняй жуть... — дрожали бабы. — Видано ли это, штоб вставали из могил?.. Твой Кирилла, поди, не встанет...

Как будто этого и ждала Алена. Вскидывала крылатые ресницы, цвела:

— Кирилла? Он воскрес. В духе воскрес.

В снегу догорали поздние осенние цветы.

**Дмитрий Крючков**

# **СЕРЕБРЯНЫЕ ЖИВОТИКИ**

(Лапландская сказочка)

Не везло Ивану Самойлову: то на оленей мор нападет, то семужья ловля не задастся, — как ни гадай, все ничего не выходит. Ходил уж и на Пазу, и Борису-Глебу свечку ставил, и к преподобному Трифону в Печенгу ездил — не идет рыба, что ты хочешь делай. А бабка старая, ей уж девяносто стукнуло, все журчит да журчит: «Сходи-ка к нойде — он бубном потрясет, попляшет — все как рукой снимет».

Послушался, пошел. Жил нойда в дальней тупе, поодаль погоста, — попа боялся. Так себе старичок, седенький, слабенький, а на лике словно олений мох нарос — морщинистый и коричневый. Послушал, посмеялся: «Погоди, сынок, ужо вызволим из беды». Полез на лавку, достал бубен с гвоздика, и на нем все письма да знаки. Ударил раз, закачался, мотнул головой и пошел ходить кругом — часто-часто ногами перебирать, древние слова причитывать, как полвека ему сбавили — легкий да радостный, словно звук. Остановился, дышит часто-часто, да и говорит Ивану: «Трудно мне с тобой, сынок, ну, да приходи ужотка ко мне утречком, я тебе кашки сварю». Подивился Иван, пошел спать. Наутро пришел к нойде — выносит ему колдунок большую чашку, а в ней каша сладкая да белая. «Возьми, — говорит, — кашу да пожди вечера: как марь по небу пойдет, так и правь карбас по Пазе вверх. А вечером-то сухой воды, гляди, не будет — ноне морянка дует, плыть-то хорошо. Минуешь падун, минуешь другой, чаль к берегу — иди в нагорье. Кашу ставь наверх, а сам кройся за пахтой. Дождешь утра — сам повидаешь». Благодарил Иван нойду, видит — сумрак идет, марь стелется, отчалил карбас, поплыл. Пазарека — быстроводная; разве на куйпуге не страшна, а как сбудет сухая вода — шумит и по озерам взводни водит. Небо зеленое, светлое — разве где ангельский глазок проглянет, отодвинет зеленую занавесочку в Божьей тупе на тундру да тайболу поглядеть.

Плыл долго, миновал падун, миновал второй — волоком карбас тащил, а внизу дедушка-водяник смеется да седой бородой помахивает. Добрался до горы, чашку поставил, за пахту спрятался.

Смотрит, идут колдунки — видом маленькие, глаза, что у рыси, острые, увидели кашу, как загадят, ровно поморы на промыслах. Да и давай уплетать; поели, поели — тут и начни их вздувать. Вздувает, вздувает — да как животик-то лопнет, так серебро и посыплется, словно ручей по камушкам зажурчит.

Лопнули все до единого, смотрит Иван — никого в живых не осталось. Вылез из-за пахты, давай огребать. Да обрадовался больно и говорит: «Вот заживу-то — помоги Борис-Глеб, Мать Пресвятая Богородица». Молвил это слово да крестом осенился — как дрогнет гора, визг да вой, а по тундре, словно сполохи, огненные ангелы пошли.

Старички-то, что носом вверх лежали, ушли Бог весть куда, а лежат пред ним камушки белые да серые. И сам-то, словно неразумный, камушков в руки набравши, сидит.

Так и своротился домой ни с чем. Пошел нойду искать — ни тупы, ни нойды — только березка мелколисточная на том месте выросла. Ходил к Борис-Глебу молиться, свечку ставить, а в углах старички смеются. Монахи у Трифона отчитывали — поехал рыбу ловить.

Нашел взводень, двинул раз, другой, плеснул зеленой бородой, не стало Ивана — пошел рыб кормить.

Паза — светловодная река, а ввечеру, как марь пойдет, Божьи ангелы из-за зеленой занавесочки на падун одним глазком глядят.

Паза-река, в погосте что у Бориса и Глеба.

**Дмитрий Крючков**

**РАЧИЙ ЦАРЬ**

Поморская сказка

С погоста выплыл Серега Хомин с товарищами в самую пору: не дунет, не шелохнет, не отличишь — где вода, глупина окиянская, где твердь небесная, словно две чаши голубые одна другую накрыли. Тихость на море, радуется Дух Божий, — в тишине Господь ближе.

С молитвою ярус в воду спускали, с наговором от стариков достанным: «Рыба свежа, наживка сальна, клюнь да подерни, ко дну потяни». Чайку попили — озорной народ, щепотники да табашники — и спать улеглись.

Зыблет, зыблет взводень шняку, на хребет зеленый вздымает малое суденышко, укачивает буйную ватагу. По влажному долу бегут сонные мары, и щекочат, и душат, и кровь мутят, и в далекие, несказанные царства уносят...

Спят крепко ребята, беды не чувят...

За далеким простором, меж Новой Землей и Грумантом, расходился в злобе, ярости рачий царь. Давно ему, владыке окиянскому, поморские ватаги что спица в глазу — мутят царство водяное, пугают народы рыбные, ничему сами не пристрашны, дерзают и на кита-рыбу, и на акулу-обжору, трещечку обижают, житья не стало от охальников. Спит рачий царь на дне морском, постель у него из золота литая, лалами и смарагдами изукрашена, немало из кораблей угубленных потаскано, спит и во сне — на поморов сердчает. Сам собою юдо поганое, несуроз дикий — головка востренькая, малюсенькая, глазки шильцами, и пузо горой раздуло, чище кита-рыбы нажрался еретик поганый, дрыхнет и посапывает.

Стал с боку на бок переворачиваться, вспомнил свои горести, да как охнет. С того оха потряслась пучина, заходили взводни, запыхило море, — летит, летит морянка на крыльях ледяных, дует, дует, щеки надувает, пеной о камни бьет, все крушить хочет. Налетела на шняку, охнула, свистнула, дернула — проснулись ребята, да поздно, програчили беду, пришлось топорами плыть. Удирают по седатой пене сонные мары, в море визг, вой и крушение — радощен рачий царь...

Протер глаза Серега — ни шняки, ни товарищей, — одна зыбь да пыль соленая, да небо серое. Схватила морянка Се-

регу за шею ледяной ручищей, давит, топит...

Взмолился Серега: «Засимосавватий, угоднички, выручите!»... Несет, несет его взводень, один другому перекидывает, то в логе, то на хребте, а все жив Серега, видно, спасут его преподобные. Да припомнись ему поп — наемни вздорность меж ними приключилась — разом на душе смутно стало, озлился Серега и думает:

«Хорошо тебе дома сидеть, дураково поле...»

То-то пожива злая дума нечисти поганой — запылило, завертело, вздыбилось: поплыл Серега топором, не успел и угодников помянуть...

Плывет ниже да ниже, чует — юкнулся головушкой оземь: предел положен и бездне морской; открывает глаза: вокруг тишь зеленая зыблется, да акула-рыба вместо будошника ходит, сторожит Серегу...

Живет Серега в окиянском остроге, — тоска хоть помри; пожевать капусты морской суют, песню начнешь — в хайло струя льет, повсюду юды да гады, что хуже и нет их. Осклиз Серега от сырости да думности, — тяжело ему в пучине сидеть...

На берегу, в погосте женки плачут — дует морянка, дует, ее, подлюю, пусти только, некому на цепь сажать.

Ворожец говорит: «Неладно, бабы, тужите, новиной рычите — по старине крепче будет». Пошел к окияну, взял лучину, посадил таракана на лучину, пустил на воду с присказкой: «Поди таракан в воду, подними таракан северà...»

Плывет таракан в рачье царство, усом шевелит, Серегу ищет. Много ли таракану места нужно — мимо юда, мимо гада шмыг к Сереге в острог. «Ты ли друг любезный, — Серега ему говорит, — запечный, усастый, с крестьянской стороны?» А таракан только усом пошевеливает, залез Сереге на ухо и шепчет, шепчет всякое...

Крикнул Серега: «Эй, юда поганая, акул-рыба, веди меня к рачьему царю, должно мне с ним в тайности говорить». Зацепили Серегу под папоротки, поволокли через водяное царство в рачьи хоромы. «Порато баско живет одер необычайный, еретик мокрущий», — молвил Серега юду. — Гадина русских слов не понимает вдосталь, Серегина речь

хитростная, цветистая. Ровно сполохи играет рачий чертог, царь на золотой постели лежит, брюхо выпятил, пыхтит...

Сереге ему поклон отвесил, таракан из уха выполз и начал речь вести: «Я, — говорит, — от Сереговой женки послан к твоему рачьему величеству спосылан. А снаряжал меня старичок посадский, зовут Кукшей, величают Ворожец». Засопел рачий царь на всю хоромину, — знаю, мол, Кукшу, нечего размазывать...

Таракан царя просить, чтоб пустил Серегу наверх, он и тараканьи слезы льет, словно плачеза заливаается, и усом поразному водит. И говорит ему рачий царь (видно, уважительный старичок Кукша был) на тараканском языке: «Ступайте наверх, только чтоб через семь ден об этом месте быть — желательно мне в веселой компании хороводы выкомаривать».

Сейчас морянку на цепь — семь ден чтоб смирно сидела.

Плывут Сереге с тараканом — рубаха заместо ветрила, тараканий ус пошевеливает...

Вона и погост показался, купол святой, золотая маковица на солнышке играет. Видят женки диво, чудятся...

Приплыл Сереге к берегу, вышел наземь, стяхнулся, на Божий храм перекрестился, да с женой домой пошел. А таракан живым ходом на печь — простудил старые косточки, погреться хочется...

Прошло семь дней, что часов — дунула морянка, пылит море, взводни рыкают, летит рачий царь к погосту, охота ему христианскую душу заполонить. Пошла великая сутомышь, плачут женки, ребята пищат...

Забыл Сереге старые глумы, пошел к попу да и говорит: «Батюшко, помоги, море злобится...» И стал поп у самого моря творить по старой книге моление об укрощении злобы водной. Шумит взводень, спешит пузень рухлый, рачий царь по Серегину душу. Не молкнет море...

И с гневом и властью возгласил попик смиренный, немудрый: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять». Хлынул взводень и назад побежал, улетела морянка на Грумант отдыхать, о торос железный клюв чистить, с пово-

ртом остался рачий царь — не видать ему Сереги, что куричьих титек аль свиных рожек...

Давненько плавал Серега к рачьему царю, а все помнится досюльщина страшная... Взгрызнется с женкой в худой час, зарычит неистово: «Кухта-мухта некрещеная, хошь, к рачьему царю уплыву?» А женка его ухватом гвозданет, кликнет чайкой несътой: «Молчи, бес семигорбяшный! Шутейно плавать всяк горазд, морока окаянная, бурзачило поганое!»

**Дмитрий Крючков**

# **МУРАШ ПРЕМУДРЫЙ**

(Онежская небывальщина)

Илл. С. Лодыгина



# Мурашъ Премудрый

В самом глухмяном да темнущем суземке, на зверином путике, под сосной толстущей жил мураш премудрый — мурашиный царь. Жил не попросту, затейно бытовал в палатах мурашиных — по-вашему, просто куча будет, а поди, заберись — там тебе и ходики, и переходики, и горенки, и спаленки, и на всякую потребу всего напасено, и мурашицы поют, мураша премудрого веселят, и мурашиное войско лютует, подрагаться хочет, и кухари с утра раннего до ночной глухомани заедки на потеху мурашиную готовят.

И был мураш мудрее всех мурашек прочих — дал ему, мурашу, Господь дар предивный и пречудный — всякую речь, человечью и звериную, понимать, на всех языках гуторить. Оттого и жил мураш премудро — и людям и зверью языки спутаны — эфиопу невдомек наша досюльщинка, козлу жеребца не переспорить, да и кит-рыба трещочке немного забрешет.

Мурашу житье было — еще солнышко не взыграло, ползет премудрый по ходикам, переходикам, на свет из палат мурашиных, к путику, к суземку глухмяному да темнущему. На свет выползет, тишком, молчашком в путь-дорогу. Зверье заворошилось, смотришь, у каждого свой лад, свой сказ да сгад — мурашу премудрому все вдомек, все тайности, все злобы и радования. Бает ушан другому, как оно-мнясь от мужика сиганул, плачет лисанька — вечер лис журавил: «Не бегай, лисанька, к соседушке, береги, лисанька, домок мужний», гугай загорготал про темь ночную, про юда всякие, — ползет мураш тишком, молчашком, своей премудрости радуется. Все-то проведал, прознал, на чем свет стоит, — раностайкой к дому ползет.

Сейчас все взворохнуты, мурашиные солдаты бегут, орланы на них узорные, лютуют порато — смотреть и то боязно. Велит им мураш поднести простяку на радостях, пойдет премудрый к столу своему, наестся заедов диковинных, сладких жамочек, велит мурашицам песни петь, — сам лежит, полеживает, дрему приваживает, про свою премудрость думает: «Нет на свете меня, мураша, мудрее: всякуюто речь мне слышно, всякая тайность мне вдомок, выхожу я не мураш, стало-быть, а мурашице премудрущий». Возьмет мураша дрема, — вот возрос мураш с кита-рыбу, царюет по всей земле. Возбудится мураш гордена-горденной, крикнет: «Ну и мушно тут, мурашицы, покрывальце мне!» Побегут мурашицы со всех ног, притащат лист с орешенья, прикроют мураша — спит премудрый до тихого света, до вечерень спит. Жить бы мурашу, на премудрость свою радоваться, — да всякому предел положен: не век было мурашу тайности ведать, не век ему и величаться-похваляться было.

В самом суземике, за чертовым болотом, за Гришиной взлыаой, за малою избушкой было озеро лесное без прозвища-имени. Правил тем озерцем дед-водяник, бородища до земли, бровищи что орешенье, глаза что у гугая, волосищи зеленущие; правил дед озерцем полтыщи годов, а може, и всю тыщу. В стыдь подо льдом сидел, в полыню гляделся, а о жаре в озерце играл, плескал да прыгал, что рыбаина какая. Прошли Спасы, Рождество Богородичино минуло, ветер-ветрило по суземку бродил, песни поет — скука деду, да и только: жди Покрова, лезь под лед, сиди пеньем в тине. Тут и прибеги к деду бес семигорбяшный, голова гвоздиком, спины нет, ножки вилочкой, глаза дырочкой. «Дед, а дед! — кличет. — Скушно, поди, сидеть-то?» — «Вестимо, скушно, да не тебе меня веселить». — «А у меня, — бает бесище, — лукошко, в лукошко воды нальем, сядешь, дед, туды, духом помчим на Лача-озеро, тамотка водяник богатеющий — игранешь, дед, богатеем станешь, мне, семигорбяшному, на извоз да удаку рыбешку в кормы пожалуешь».



Послушал дед беса, сел в лукошко — духом домчали. Дача-озеро немалое, водяник тамошний, что гора. Играли старые — продул дед портки, рубаху, пояс узорчатый и бает богатею: «А ну, в остатный раз — коли не мое будет, уходи вся вода со всякой рыбиной в твое озеро, коли моя возьмет — вали денег мешок да золотых, медны на колокольцы береги». Продул дед и воду всю, и всякую рыбину, пожаловал ему богатея со своих щедрот лужу поганую — меж кореньем зарылся дед в грязищу без портов, без рубахи, бо-

родищей принакрылся. А семигорбяшный над ним глумы строит: «Ты, — баёт, — старый зеворот, у тебя, — баёт, — не башка, а репишшо». Заплакал дед горько, воп пустил по суземку, да поздно.

Притащился семигорбяшный к дому, сидит с вертехой-бесицей — водяникову рыбину угрызают, над дедом глумы строят.



Зябель прикончилась, пришла теплынь, наладили мужики рыбу ловить. Добрели до малого озера — глядь, ни воды, ни рыбины — одна ямишша, сухмень да и только. Стоят, дивуются, в скорбости стоят — задарма к домам ворочаться, а мураш тут как тут. «Дай, — думает, — про дедову игру наскажу, мужики-то за премудрость мне, мурашу, поклонятся!» И пополз мураш па лаптишши, с лаптишши на онучи, с онуч на портки, дополз мураш до ушного места, открыл мураш всю тайность дедову — прощпандырил водяник озерце, ушла и вода вся и всякая рыбина в Лача-озеро великое. Постояли мужики, ругнули деда, хотели мураша поймать, да где им, — он с уха да к плечам, туды-сюды, к путику, в палаты мурашшиные.

Приполз к домам, лег на перину, орешинным листиком задвинулся, подремывает, посапывает, давнишнее думает: «Выхожу я мурашище премудрущий — кто супротив меня выстоит?» И дремнул мураш одним глазком, хочет мураш мурашиц кликнуть, кваску желается, — нет у мураша зыку, нет у премудрого языка-голосу. Огляделся мураш — лежит грамотка. Схватился, золотыми письменами прописано: «Ты, мураш, что баба лепетливая, про тайности баешь,

суземок хулишь, над чадью Божьей глумы строишь. Быть тебе, мурашу, без языка довеку». Прикончилась мурашиная премудрость, — все тайности мурашу вдомек, все ведомы, да никто про них не уведует, — молчашком бытует мураш, онемлен.

**Дмитрий Крючков**

**ДОСЮЛЬЩИНА О ТОМ, КАК НА  
РУСИ ГНУС ПОШЕЛ**

Знаешь сам, поди, каково баско у нас на Онеге — струит великая река скрозь темный суземок, мимо пожней, мимо гор великих, высоченных. В лесной густыне кого не встретишь — сохатый бродит, волк рыщет, кукушка плачет, гугай вопь пускает, жигалюхи на солнышке спинки распаривают, ушкан попрыгивает. В темной норе медведище таится; вон, и пыжик мелькнул в далях, а на суку пятнистый пардус сидит — живого мясца дожидается.

Много по суземку да по пожде не походишь, не побродишь — налетят на тебя бучни толстоголовые, загудят, облепят с головы до пят. Да и та беда не в беду покажется, как гнус запоет в уши — голос звонкий, что у дьячка, жало вострое, а сам мелкий. Поди убей — одного убьешь, новый полк налетел — бери ноги под мышку да драла домой. В страду гнус треклятый до страсти крещеных язвит — и так притомятся, сердешные, к ночи спину разгнуть не умеют, горбушей не сладко день-деньской помахивать. А тут те жалят, тут-те язвят, инда кровь по лику текет. И невелик, кажись, зверь, а вся тварь лесная перед ним страх имеет — сохатого в озерки загоняет — забежит рогатый в воду, только голова да роги над струей торчат торчмя, передохнуть от гнусовой потехи хочет.

Ныне оно и невдомек, что в древние годы гнусу и вовсе воду не было. Напустили его хитростным лукавством на землю гадовья с темени, шишко-шишкун проклятый с нечистым своим семенем, ширихан оголтельный. А было то дело в незапамятные годы, как еще пожни с Господним Верхом в далях сходились — правильные-то люди, старички милые тех мест досягали, промеж светил Божиих хаживали, опосля домой ворочались, на страду крестьянскую.

Стал Господь о ту пору все земные богачества делить, что кому дастся, что кому надлежит, — всем нашлось место свое — и сухолапль-журав гнездовье нашел и вепреслон в полуденных пустынях вселился, олешки по горам побежали. Запоздал на то судьбище Господне ушкан-заяц — у него, длинноухого, умишка коротенок, повадка легкая, попрыг борзый. И тому Господь место указал — сбылось над ушканом слово псалмопевное: «Камень прибежище заяцем».

А крещеному люду дал Господь житье по всей земле — и множиться, и славить Имя Его — и всю тварь земную в обладание ему даровал. Харчисто зажил народ, женки куковницы, тонкопрядицы, ядомные приборы серебряны, в церквах свечи воскояровы, на попах ризы златокрыльчаты.

В то время непутевый лешак, шишко-шишкун, промеж небом и землей болтался — услыхали о том Господнем судьбнице шишкуновы сестрицы и исхлопотались порато. А было их десять да еще две — трясея, желтея, резея, знобея, леденя, огня, злобея, ломея, пухея, корчея, хрипуша да окоркуша — все красивы девки, в один рост, в один толст, под одну стать — глаза пуговицей, носик шилом, головенка лувовицей.

Налетели на братана, подняли корявые гам: ступай дом добывать, полно, непутевый, промеж неба да земли болтаться. У шишко-шишкуну глаз завидуций, лапы загребущие — в охотку ему гнездовье поширше завести.

Побрел он на те пожни далекие, что с Верхом Господним сходились — хоша и нет ему, треклятому, хода в Господни хоромы, одначе поднял лукавый воп превеликий да плач прегорький. И послал Господь на ту пожню далекую ангела светлого, и спросил тот ангел светлый шишко-шишкуну: «О чем, непутевый, плачешься, чего, несыть, просишь?» И почал шишко-шишкун землицы вымаливать, чтоб ему гнездовье свое поганое ладить, достатка всякого выплакивать.

Понес ангел светлый те слова шишкуновы к престолу Божьему. И послал Господь на шишко-шишкуну ангела грозного, и сказал нечисти ангел грозный слова немилостивые: «Поди отсюда, гад ползучий, от входа в храмины звездные, нет тебе ни гнездовья, ни обиталища, нет тебе довеку прибежища — вар-смола тебе в жажды утоление, камень в хлеба место». И метнул в шишко-шишкуну ангел грозный молонью палящую — опалил его пламень Господень, стал нечистый шадровит по всему обличью своему.

Убежал шишко-шишкун от тех пожней дальних, от входов в храмины звездные и почал он в неведомом месте с

сестрицами прикидывать, где ему гнездовье ладить, как крещеных обольстить. И пошел шишко-шишкун на Онегу-реку по погостам бродить. Ребята над ним глумы строят: «Иш, — вопят, — шадровик, голяш нечистый таскается!..» Распалился на них злобой шишко-шишкун, а сгубить ребячью душеньку не дано ему — у каждого Ваньки чертогон на шее есть, крест честной — перед ним вся сила шишкунова тает.

И попросился шишко-шишкун на один двор ночевать — хошь и взглядели на голяша необычливо, а все странная душа, пустить надобно. И была та ночь темная, словно вар на землю пролили. Выскочил из горницы шишко-шишкун на задворок, раным-рано, еще кур курей не кликал, схватил кол осиновый да и почал нашепты творить. Близко к свету было — как ткнет шишко-шишкун колом тем в землю, пробил дыру на десятое шоломя. А из той дыры повалил гнус невиданный, — протирают глаза крещеные, дело к утру идет, тьма по-прежнему, застыт солнышко гнусы шишкуновы.

Повыскакивали на волю из хоромин, — как почал тот гнус язвить, что людей, что скотину — от сутомышы да вопу жить не стало. Побежали до попов спешно, чтоб те вздели ризы златокрыльчаты да умолили престать гнев Господень.

И сказал Господь громовнику, пророку великому Илье: «Всядь, Илья, на колесницу громовую, вызволи людей Моих от беды шишкуновой, уйми гнус язвительный». Всел Илья на колесницу громовую, в сизой туче, в сером облаке налетел на ту пакость шишкунову. Отломил Илья от стрелы молниеносной вострие и метнул в ту дырищу треклятую — заткнула стрела дырищу, престал гнус столбом валить, вздохнули крещеные.

А тот гнус, что в аерскую высоту вознесся, тот остался жив по воле Господней, чтоб довечно помнились милость Господня и злоба шишкунова. Шишко-шишкун до сей поры по суземку бродит — от Ильиной стрелы не опомнится.

Так-то и пошел гнус на Руси — людям на муку и на поучение. От него разве дымокурор вызволишься — баяли ста-

рые люди, что не дано гнусу в облаке жить, по Ильиной памяти.

Ономнясь барин из Петрограда приезжал, от гнуса только слезой не изошел, чужитель, видать, не влюбил нашу сторону. Да с него что взять, по нашему делу он, что кумжа безглазая, не знает, видно, стародавней присказки: «Не сам Бог казнит — тварь напускает».

**Иван Соколов-Микитов**

**СОЛЬ ЗЕМЛИ**

Сказка

Илл. С. Лодыгина



# СОЛЪ ЗЕМЛИ

## I

Было это так давно, что не помнят и сами серые валуны и даже седой месяц забыл. Земля была черная, плодородная, не то, что теперь, а на земле росли такие деревья, ну, такие цветы! — и был вечный день.

Раздолье было тогда всякой нечисти, тешилась, скакала она на воле и не мешал ей человек веселиться, темную свою исподь показывать.

В лесу жил дед Лесовик, а кожа его, как кора у дуба; водой Водяной распорядился. В лесу жили девушки лесные

— лесавки, а в воде русалки. Сходились они при месяце в игры играть, пели песни. И было так до тех пор, пока Лесовик у Водяного не украл дочку.

Вот как это случилось.

Вышли однажды лесавки да русалки на берег веселиться, песни поют, пляшут, друг за дружкой гоняются, а играла с ними дочь Водяного, красавица из красавиц, побежала она в лес, а там Лесовик — цап-царап! — Загремело, зашумело, и нет девушки.

Схохонулись русалки, а лесавки по кустам рассыпались, Водяного боялись, что на них подумает.

А Водяной о ту пору сладко похрапывал, по воде пузырьки пускал. Прибежали к нему, горе поведали. Рассердился Водяной, расхотелся, и пошла тут сумятица, расплескалось все озеро, волна, что гора идет, а другая, бóльшая, волна догоняет волну.

Лезет Водяной с Лесовиком управиться, синий-пресиний, на голове шапка торчит, сплетена из водорослей, лезет, — тростник ломит, за собой дорогу оставляет.

Не видывал лес такой бури, много деревьев жизнь положило.

Спорил Водяной с Лесовиком бородастым:

— Отдай дочь, не то весь лес размечу!

— Врешь, водяное рыло, я те ткну суком — вода потеет, конец тебе будет!

Видит Водяной, не совладать ему с дедом лесным, просить принялся:

— Отдай, — говорит, — товарищ старинный, дочушку, — а сам заплакал: любил поплакать Водяной.

— Ну ладно, отдам, только ты мне к вечеру *Соль Земли* добудь.

И пришлось согласиться, на все готов Водяной, только б дочку вернуть. И начал он голову ломать, как ему *Соль Земли* добыть.

Темная стала вода в озере, а над озером тучи висят — грустит Водяной.

Созвал Водяной всех своих болотных, усадил в кружок и рассказал, какую ему задачу загнул Лесовик.

— Достань *Соль Земли*! А где она есть, кто ее знает?  
А один болотник — Яшкой звали — сидел, сидел, да как крикнет:  
— А я, дяденька, знаю, я сейчас!  
Да только его и видели, — убежал *Соль Земли* добывать!  
Ждут час, ждут другой, скоро день к концу, — нет Яшки, пропал.

## II

Есть Земля на земле, шагами не мерена, верстами не измерена, ни длины, ни ширины нет. И стоит на той земле дуб, — на дубу два ворона сидят, а в них-то и есть *Соль Земли*.

Туда и прибежал Яшка, и уж совсем вот виден дуб, а близко никак к дубу не подойти — там земля шагами не мерена, верстами не измерена, ни длины, ни ширины —лететь к дубу нужно.

А у Яшки крылья — какие же крылья! Был он маленький, плюгавенький и крылья-то ему нужны совсем небольшие. Осмотрелся он, да на дерево, к гнезду ястребиному, и долго ждать не пришлось, прилетел к гнезду ястреб, хватя его палкой, — вот и крылья!

Лыком привязал их себе Яшка, взмахнул и очутился на дубу. На дубу два ворона сидят, их-то и нужно ему, — взял одного, другого, попробовал слезть, а руки заняты, ухватиться не чем. Пробовал в зубы одного брать, да птица большая, глаза заслоняет... Бился, бился, ничего у него не выходит, скоро срок, а надо еще и до озера добежать.

Безячья порода хитрая, изворотливая, и придумал-таки Яшка, как ему из беды выкрутиться.

Одного ворона он пустил, и уж в поле поймал чернокрылую птицу-грача, — все равно, мол, Водяной не заметит, и понес к Водяному.

Обрадовался Водяной, — двух воронов принес ему Яшка! Зеленые зубы оскалил, целоваться лезет и сует в копыто янтарю кусочек: уж очень доволен.

Подслеповат был старый Водяной и неприметно ему, что надул болотяник.

Посадил Водяной чудесных птиц в клетку и понес к Лесовику в лес.

### III

Жил Лесовик богато в хоромах, — из пней вывороченных срублены хоромы. Подходит Водяной, а страх его дрожью так и прохватывает.

Глядит, а навстречу сам Лесовик, и такой смирный!

— На, достал тебе *Соль Земли*, отдавай дочку! — а сам смотрит на Лесовика, не узнает: стоит Лесовик и глаза в корни опустил, не ругается.

Подросла тут дочка-русалка:

— Батюшка Водяной, не сердись, не пыхти. Хорош был со мной Лесовик, хочу у него жить.

У Водяного и клетка из рук и рот до ушей, сказать ничего не может. Давно хотелось ему в мире с Лесовиком жить, и заплакал рахманый: любил поплакать Водяной, и потекли слезы ручьями говорливыми и до сей поры текут под корнями древесными радостные лесные ручьи.

Большая в лесу была радость, — закружились веселые листья, заговорила осина и сама береза в тот радостный день подняла плакучие ветви.

На радостях чуть было про птиц не забыли, да вспомнила дочка-невеста:

— Сегодня всем радость! — и выпустила на волю ворона и ту черную птицу-грача.

И тогда великое чудо приключилось: земля побелела, — побелела земля и перестала родить, как прежде. Приувяли цветы, упали вековые деревья и не стало вечного дня, пришла темная ночь.

И никто не знал, откуда беда такая, один знал плут Яшка.

*Соль-то Земли* в двух воронах таилась, и как одного не стало, умерла земля наполовину.

И летает одинокий ворон, ищет брата и не находит, земля, где на дубу живет брат, шагами не мерена, верстами не измерена, а знает про нее один плут Яшка.

И до сей поры летает печальный ворон, и его печаль темная заслоняет солнце и тогда сходит на землю черная ночь. А когда-нибудь найдет брат родимого брата, и снова загорится яркое солнце, сгинет ночь, и засияет вечный веселый день.

А когда это будет, кто знает, кто скажет? Мне-то не сказать, а вот про то, как Лесовик на Водяного дочке женился, могу.

Долго тогда веселилось Лесное и Водяное, и такое было веселье, и такая была радость, что горе земли всей нипочем показалось, и живут теперь Водяной с Лесовиком в пре-великой дружбе и даже один без другого жить не может: где вода, там и лес, а где лес повырубят, там и вода усы-хает.



**Иван Соколов-Микитов**

**ЛЕСОВОЕ**

Илл. Н. Любвиной и др.

Кто золото и богатство, а я собирал сучки всякие рога-тые диковинные, камушки необыкновенные, грибы, что на березовых пнях растут, всякую раструсицу, которую сапогами топчут. А, бывало, этакая заковырка попадетсЯ, ну, никакому художнику не изобразить, — самая настоящая чертячья морда, точь-в-точь, как гоголевскому деду над кладом казалась.

Лежали у меня в *берестяном кузовке* янтарный Мальчик-Пальчик, — в вишневом саду его подобрал, из вишневого клею сам собою склеился, — была горелая кочерга ягинная, та самая, которой Баба-Яга в печке жар загребает, чтобы ловчей лопатой действовать, был Аронов жезл, чудесно расцветший, и самое удивительное посреди всех богатств моих, — диковинный лесовой *Засупоня*, сам что еловая шишка, а глаза, как бисеренки.

А подарил мне *Засупоню* Петушок — Петушок его из еловой шишки и смастерил.



Квакушка-лягушка на бережку греется, о червяках думает.  
А зовут лягушку Петровной.

Вечер на землю — Петровна в гости.

— Ква! Ква! Ква! Завтра дождь будет! Ква-ква!

— Вы бы потише, Пелагея Петровна, — вежливо просит  
гусь, — мои гусенятки спят.

— Ква! Ква! Ква!

— Ф-фу, ты, горластая! — шипит гусь, — и нет на тебя уго-  
мону!



У Сивого Зайца в лесу именины: зайчиха его Заяда Попаловна именинница. Решил Сивый перед гостями хвастнуть — стол у него полон:

заячья капуста для своих, для зайчатков  
каленые орешки рыженьким бельченок  
туясок меду Михайле Михайловичу  
гусиные потрошка Патрикевне  
баранья кость Серому Волку  
крынка сметанки коту Котофею

Едят гости, похваляют, ведут разговоры.

— Я, — сопит Михайло, — только у меня вид такой, а я зверь добрый, я своей жизнью доволен, мне только от блох беспокойство.

— Ха! — хи! — хикнула Патрикевна, — от того, что не моешься, Михайло Михайлыч.

— Некогда, — сопит Медведь, — когда мне мыться!

Смеются над Михайлой гости.

— Гу-ук! — на весь стол икнул за бараньей костью Серый Волк.



## ЗАСУПОНЯ

Евгению Ивановичу Замятину

Живет Засупоня не в лесу, не в поле, на моховой кочке, а кочка посередь болота.

Ночью курлыкает, — слышали? — жа-лоб-но.

Похож Засупоня на еловую шишку, о трех главах, глаза, что бисеринки.

Прилетел весной Журавель от теплой реки, и прямо на Засупонину кочку.

— Пошел вон, я тут гнездиться стану.

И согнал Засупоню.

Пал Засупоня духом, уж не курлычет.

— Я ему отплачу!

А чем отплачивать: рук нет, ног нет — еловая шишка.

— Я ему яйца перепорчу, я ему...

Сказано — сделано: улетит Журавель, а Засупоня к яйцам, надстучает, и пропало яйцо!

Понял Журавель:

— Нечисто место.

Взял Журавель в клюв, что было, перенес на новое место.

— Пропадай ты пропадом, несчастное место!

А Засупоне того и надо: у Засупони кочка.

И закурлыкал еловый по-вешнему, — слышите?



Михайлу Михаловичу Пришвину

У Лешего в гостях Медведь сидит. Смерть надоел, а не выгонишь — *ведьмедь!*

Ну и придумал Леший уловку.

— Не угодно ль вам заячьей капустки попробовать, Михайло Михайлович?

Известно, Медведь о капусте слышать не может, а тут смолчал.

— Ну что ж, — говорит, — съем, пожалуй.

И пришлось Лешему на стол заячье кушанье ставить, а Медведь сидит и сидит.

«Вот, — думает Пеший, — леший какой! Как бы мне его выкурить?»

И начинает этак — сам на дверь смотрит:

— Подумайте, Михайло Михайлович, как народ необразован. Сегодня утром пришли ко мне из Лядиц две девоч-

ки: «Дяденька, — спрашивают, — нет ли у тебя медвежьего сальца, у матери голова болит».

— Ну, — Медведь понял, — мне, кажется, пора: засиделся.



**Иван Соколов-Микитов**

**БЕДОВОЕ**

**СНЫ**

Раньше я не запоминал моих снов, и мне казалось, что сплю сплошь. Теперь я знаю, что сна без снов не бывает. Не бывает и бодрствования без видений. Оставаясь один в тишине, напрягая слух, слышу звуки и голоса, ведущие разговор, и слышу каждый отдельный голос, ловлю и запоминаю никогда не слышанные редкие слова.

И еще знаю: сны — самое интимное творчество, и не потому ли так любят слушать сны женщины? Женщинам и посвящаю мои *бедовые* сны.

---

### Халамеевская ночь

Будто я в вагоне. Заткнули меня куда-то на самую верхотуру между солдатскими протухлыми мешками. Накурено в вагоне, надыхано, — нет никаких сил. «Вот, — думаю, — задохнусь, никто и не увидит».

А внизу гогочут скуластые пьяные морды. И сквозь гогот и мать я слышу одно повторяемое слово:

— Баржув резать!

«Ну какой, — думаю, — я буржуй! Меня не тронут!» И вижу со своей протухлой полки, сидит внизу петербургский знакомый. А каков, развалился на диване и сигара в зубах.

«Этого обязательно прирежут, накуриться перед смертью хочет...»

### Скала

Опять я на старом Афоне. И у монахов революция: полна гора бабами, монахи в пеньжаках щеголяют и открыли советскую мясную столовую: телячьи котлеты 1 р. 25 коп.

На дворе дети играют — их много наехало.

Бледная женщина просит меня помочь взойти на лестницу.

— Что у вас, — спрашиваю, — малокровие?

— Кровотечением страдаю, — отвечает, и вижу, ей минута жизни.

«Господи, — думаю, — какие тут доктора!» Помогаю ей подняться, а она через перила. Подыму ее, а она туда же.

Мы на площади, высланной камнями. Между камнями растет зеленая, молодая травка.

Над площадью мраморная, обвитая виноградной лозой, скала, а выше — тучи. На скале живут отшельники-каливиты — контрреволюционеры.

Мы слышим от скалы голос:

— Воры, гибель вам!

Начинает дождь, гуще, забойнее, гляжу: Господи, дождь из перхоти и головных вшей!

Нечем дышать.

## Лебедь

Бежал я из России в центральную Африку, — куда же еще бежать русскому человеку? и будто уговариваю тамошних чернокожих людоедов идти спасать русскую землю.

— Есть у нас и хлеб, и апельсинов для вас добудем, — заговариваю чернокожим зубы, — одного у нас не осталось: совести. А вы народ совестливый, очень вас прошу.

Нет, не хотят чернокожие идти спасать русскую землю...

И говорит мне один:

— Шел бы ты лучше в баню воду качать, неравно подохнешь так! — и захохотал, откинув черную голову, — зубы блесят.

Воду качать! И пошел я в баню, верчу колесо, похожее на мельничное, а вода в ручей течет.

По ручью подходит ко мне мой чернокожий хозяин. В его руках плетль.

— Пойдем на море! — берет меня за плечо.

По камням спускаемся к морю. Вижу, как шире и шире становится бегущий по камням ручей. На том берегу белеют мраморные домики и ступеньки прямо в воду, как на Босфоре.

Вижу, плывет по синему морю лебедь, величиною, как лев, а шея его, точно змея.

— Смотрите! — кричу, — смотрите!

— Молчи! — приказывает чернокожий, поднимая плетль.

Услыхал лебедь; догоняет. Щиплет своим мягким клювом, — не больно, а ужасно. Руками сжимаю его красный клюв, волоку к морю. Глубоко внизу полощется синее. Брошаю лебедя в море. Вижу, как он меньше и меньше, и только голова его видна над водой.

Ну, и будет же мне от чернокожих!

— Ты что это руки в боки уперла! — слышу бабий голос.

— Что она меня в женском роде? — думаю, и вдруг замечаю: я женщина, чувствую тяжесть груди и в ушах сережки!

— Пошла баню мыть, — насаждает чернокожая хозяйка.

Иду мыть баню. Баня на две части: мужская и женская и предбанник. В мужскую мне нельзя. Я мою и убираю, чувствую тяжесть груди, — я женщина, и радостная, непереносимая сладость достижения будит меня...

## Церковь

Приехал покойный петербургский репортер Миша Ялгубцев и, как был, в своем желтом халате, за чай. Лицо его не испитое, как всегда, а круглое и налитое — яблоко. Отзывает меня за дверь и подает дрожжи и газету:

— От самого Чихачева!

Мы на церковной площади. Я вижу сквозь сквозную ограду могилы и каменные кресты.

Караулит церковь знакомый щенинский дьячок Николка.

Самоуверенно идет Миша в церковь.

— Куда? Куда? — испугался дьячок.

Миша рукой отмахнулся.

Мы в церкви пустой и просторной. Ни одной иконы не видно вокруг.

Вижу, Миша облачает дьяконское, перекрещивает на груди орарь и начинает молиться перед царскими вратами. То вправо поклонится, то влево, и очень ладное говорит, какую-то молитву.

И сами собою отверзаются царские врата.

Вижу престол, а за престолом стоит походная кровать: такую когда то видел у нашего полкового казначея. На кровати будто никого, а я знаю, там мертвяк. Подхожу ближе и становлюсь рядом с Мишей на амвоне, слушаю, как складно и красиво он молится и стараюсь рассмотреть мертвяка.

Миша перестает молиться и обращает ко мне смеющееся лицо, и так же, как молился, не теряя темпа, тихонько, как ловкий балалаечник, начинает на губах барыню, все прытче, все веселее...

### Стекланный гроб

Будто я на экзаменах в реальном училище. Всех, кто оканчивает наше училище, заколачивают в стекланный гроб. Моя следующая очередь, я лежу связанный. Вижу, как под стекланный крышкой бьется рядом заколачиваемый чернобородый человек.

— Умереть дайте! — кричу, — умереть!

Мне подадут в коробочке пилюли. Глотаю пилюли пригоршнями, а смерти нет. «Так же буду головой биться!» — думаю, и ужас подымает меня. За мной гонится инспектор, в его руках деревянный кол, а на колу блестящее, острое железо. И чувствую, не могу: живота у меня нет, с ним живот, а я — труп.

## Хвост

Чувствую, пониже спины — свербит. Пощупал рукою:  
маленький, порсячий, курником вырос у меня хвост.

— К доктору! — одна осталась надежда.

— У вас, — басит доктор, — смертное. Рак кишков!

**Варвара Устругова**

**КОТ ПОСХИМИЛСЯ**

Сказка сказа

Илл. В. Арнольда



# КОТЪ ЛОСИИВЪ

сказка сказ

## ВЪ УШЕ УГОВОИ



У одного мужика и бабы былъ котъ. Большой, бѣлой, здоровой, мягкой, что подушка пуховая. И кака морда у ево прятная была, полбки бы ты на ево и глядѣль! А глазы-то такъ и возсіяютъ, что пуговицы у урядника, какъ объ Пасхѣ бываютъ начищенны.

И какой эготъ котъ до крысь и мшшей былъ докой, не приведи Богъ. Самъ наиспья—изъ боковъ вонь,— да еще и хозяевамъ принесеть угошшенья: вотъ эдакихъ—по полбну—наловишь, да кругъ хозяйской кровати и положить енѣ и лежать, не дышущъ. Дакъ хозяйка ночью боится босой ногой на полъ ступить, чпобъ не наступить ногой на эдаку дичину, а все поровишь въ валенокъ.

Ну хорошо, полбки эдакой котъ перебѣлъ крысь, мшшей—уйму! Енѣ, собравшись на совѣтъ, да и говорятъ:  
— Желаннѣ подруженьки, давайте его остерегагцы!

А остерегагцы просто: енѣ бѣлой, бѣлой, что кипень морская, а глазы-то такъ и свидикаютъ.

Ну, ладно. Вотъ енѣ согласились, да опъ него далѣ, да далѣ, и пришелъ этому коту великой постъ, и сдидался енѣ, что двѣ доски—худой, худой—пощой, щощой. А хозяйка ево не кормяшь, думаютъ, енѣ сытъ мшшамъ.

Вотъ и спалъ котъ думу думать, какъ ему мшшей и крѣсокъ приманить, и придумалъ вѣдъ, прокурать эдакой!

Забравши енѣ былъ въ ригу, зализь въ трубу—а тамъ, знашь, сажа мягкая, черная, что краска хорошая—елозиль, елозиль по трубы-то и сдидался черной, черной, что чортъ въ

субботу (православной-то человекъ въ субботу, знашь, въ банѣ вымоется, а чортъ-то еще хуже выпачкается, чпобъ народъ пугать).



Ну, эдакой котъ, черной, при-  
бѣжалъ и сѣлъ въ анбарѣ на крѣ-  
лечкѣ; сѣлъ въ анбарѣ и лапочки  
уклаалъ хрестъ-нахрестъ: си-  
дитъ и поглядываеъ въ одну  
спороу и въ другую.

Была тамъ така мѣшка,  
Степанидка, пухленькая, хоро-  
шошенькая, така бойконькая,  
глазки, что головки булаво-  
чны. Ена и бѣжитъ; бѣжитъ,  
бѣжитъ, да прямо къ ему.

— Ой, — говоритъ, — Еста-  
фій! (это коша-по Еста-  
фиемъ звали). — Естафій, —  
говоритъ, — что это ты  
черну форму одѣлъ, не въ  
монахи ль ты пошелъ?

А ень говоритъ:

— Въ монахи, раба, въ монахи.

— Ой, — говоритъ, — Еста-  
фій, — да ты не посхимился ли?

— Посхимился, раба, посхи-  
мился!

— Такъ ты теперя не мо-  
жешъ скоромной пишы ку-  
шашъ, ты насъ не пронешъ?

— Не трону, раба, не тро-  
ну, — корешкамъ да травкамъ  
тольки питаюсъ, скоромной  
пишы не потребляю!

Ну, извѣстно дѣло, жен-  
ское сословіе — добродушное,  
всему вѣритъ. Ена, знашь, ско-  
рѣй ко своимъ мѣшачкамъ,  
сударкамъ, бѣжитъ и крѣ-  
читъ, и крѣчитъ:

— Жаланы подруженьки,  
побѣжимте скорѣй, теперъ  
Естафій насъ не пронешъ, ень посхи-  
мился, мясной пишы не потребляеъ.

Ены побѣжали вкругъ его хоро-  
водъ. Толки, знашь, завели хоро-  
водъ, а ень какъ скокъ! да Степа-  
нидку хрупъ, хрупъ, хрупъ — и жреъ.

Ена крѣчитъ:

— Естафій, Естафій, что ты дѣ-  
лаешъ: да вѣдъ я скоромная!

А ень и говоритъ:

— Кому скоромно, а мнѣ-ко здо-  
рово! — да такъ ею и слопалъ.

Вотъ вы и знайте впередъ, какъ  
мужчинскому сословію вѣритъ...

Изобразилъ Влад. Арнольдъ  
1912.

**Александр Рославлев**

**ДРОВОСЕК**

Сказка

Рубил мужик осенним утром хворост. Связал тринадцать пучков и присел на пенек покурить. Свернул цыгарку, глядит — пучки развязаны, раскиданы.

Диву дался мужик, собрал хворост, связал сызнова и взялся за топор. Оглянулся — хворост опять разбросан.

— И какой здесь черт измывается, — осерчал мужик и вдруг видит, стоит под березой сивый солдат на деревянной ноге.

— Что, — спрашивает, — бранишься?

— Станешь браниться, когда черт в дело путается. Я вяжу, а он раскидывает.

Ухмыльнулся солдат и говорит:

— А кто тебе велит такое дурацкое дело делать, когда и без того можно барином жить?

Достал солдат из-за пазухи большой кошель, раскрыл, показывает. Битком набит золотом.

— Сослужи мне службу — все твое.

— Ладно, давай сюда...

— погоди, сначала дай из твоего большого пальца на правой руке пососать крови.

Испугался мужик, не дает.

— Ну, так и руби свой хворост, голодай всю жизнь, — сказал солдат и пошел прочь.

— погоди, — остановил мужик, — я согласен.

Обрадовался солдат, расцарапал ногтем мужику палец, три раза слизнул кровь, сплюнул в черный коробочек и спрятал его за пазуху.

— На, бери, — сказал и отдал мужику кошелек. — А ежели мало будет, приходи сюда. Видишь, вот камень. Ударь в него три раза левой пяткой, и получишь столько, сколько тебе потребуется...

Перевернулся после этого солдат вверх ногами и сгинул.

Зажил дровосек барином. Купил богатое имение, женился на красавице-барыне, завел большую дворню, разжирел, что боров.

Думали, гадали: откуда ему привалило такое богатство, не могли догадаться. А как пришло время дровосеку поми-

рать, поднялся в горнице, где он лежал, такой шум и гам, что все из нее повысыпали, как горох. И пока не скончался, никто к нему не вошел, боялись.

Первым осмелился войти дьячок-пьяница, а за ним и другие. Глядят, нет в горнице никого, только лежит середь пола, в кровавом пятне, обглоданный палец.

**Александр Рославлев**

**ЧЕРТОВА ТЕЛЕГА**

Народная сказка

Тосковала вдова по муже — день и ночь плакала.

Под сороковой день такая навалилась на нее тягота, что взяла она веревки и пошла в клеть вешаться.

Ночь была месячная и тихая-тихая.

Уже накинута вдова на свою лебяжью шею петлю, вдруг слышит: телега тарыхтит и как будто разговор чей знакомый доносит.

Прислушалась.

Подкатывает телега к воротам.

Скинула вдова с шеи петлю, стоит, дивится, — кто бы это?

Стучат в ворота.

Пошла отпереть...

Отворила калитку — да так и ахнула.

Стоит ее муж, а с ним еще человек шесть.

Сидят они в телеге — молодец к молодцу и одеты все чисто.

Смотрит баба, — глазам не верит.

— Что ж так встречаешь? — говорит муж. — Аль уж забыла?

— Да, голубь мой, да, касатик... Откуда ж ты?!

— А ты думала, я помер?!

— Кого ж я хоронила-то?

— Ловкое дело вышло. Хоронила ты борзого кобеля, а я жив и здоров покамест. Садись — поедем...

— Куда ж, родимый?

— Садись, говорю — узнаешь. Это мои сотоварищи.

Села баба на телегу.

Стегнул муж лошадь изо всей мочи. Покатила телега — подняла пыль.

Сидят, молчать молодцы — словно немые.

Выехала за деревню телега.

Догадывается баба, куда ее везут.

Смеется муж.

— На новый двор, — говорит муж, — в новую избу.

— Ой, чтой ты мне страшен!

— За мертвого считаешь — потому и страшен...

Едут к реке — знает баба, что место глубокое и обрыв.

— Вывалимся! — говорит.

— Ничего...

Перелетела телега через реку, — словно птица.

Взял бабу такой страх, — что сидит она, дрожит, зуб на зуб не попадает.

Глядит — лес — дороги нет!

Катит телега прямо на сосны. Расступаются сосны — дают дорогу.

— Ох, боюсь! — жалуется баба.

— Сиди, сиди! — говорит муж, — скоро приедем!

Видит баба, стоит в лесу церковка.

— Не ладно, вы, ребята, правите, — нахмурился муж. — Берите левей.

Захрапела лошадь — посыпались у нее из ноздрей искры.

— Берите левей! — говорю.

Заметалась баба.

— Сиди, говорю, — смирно! — кричит на нее муж.

А та, как поравнялись с церковкой, — возьми да и перекрестись.

Затрясла телега — подскочила. — Вытряхнуло бабу в колючий куст.

— Ах, проклятые, — немного не доехали, — слышалось из телеги.

И увидела баба, что сидят в телеге семь чертей — и самый набольший тот, что обернулся ее мужем.

Закружило телегу в огненном вихре и провалилась она сквозь землю.

Вернулась баба на утре домой, вся исцарапанная, упала на крыльце и заснула.

Спала три дня — думали: померла, — а на четвертый день глаза открыла и говорит:

— Отвезите меня в монастырь, люди добрые, хочу я постричься.

**Александр Рославлев**

# **КЛОПЫ И КРЫСЫ**

Народная сказка

Была у мужика лошадь, работал он на ней без малого тридцать лет. Отощала лошадь — кожа да кости, ослепла.

Свел ее мужик в лес, привязал к дереву, да и говорит: «Пусть на тебе черти ездят, а мне тебя такую кормить убыточно».

Прошел год. Случилось мужику быть в том же лесу. Видит — стоит его лошадь на том же месте; только стала она сытая, бока колесом, грива обросла до земли; а глаза, как уголья — так и горят... Обрадовался мужик. Вот, думает, счастье-то... какую привел, а какая стала...

Стал отвязывать ее от дерева, чтобы домой вести, и вдруг слышит голос:

— Э. нет, стой! Дареного, брат, назад не берут... А хочешь взять, так выкупи...

— А какой будет выкуп? — спрашивает мужик.

— А вот какой: в ночь под Рождество мне с левой руки мизинец.

Почесал мужик в голове, посмекал малость и согласился.

Отвязал лошадь и повел к себе. А голос ему вслед и говорит: «Только, брат, помни: что сказано, то сделано. Быка за рога, а мужика за слова».

Привел мужик домой лошадь, стал боронить да пахать, дрова возить, на базар на ней ездить, а сам нет-нет, да и подумает, сколько до Рождества осталось...

Наступила зима. Навалило снегу. Мороз по льду на реке костылем застучал...

Бойтся мужик. Близко расплата. Конечно, думает: мизинец дело маленькое и, можно сказать, совсем ни к чему, а все ж таки жалко... Да и как он его отымать будет?

Наступил сочельник.

Забился мужик на печку в самый угол, зуб на зуб не попадет от страха...

Ждал, ждал, постучал кто-то к окну.

Пошел отпереть, а сам еле на ногах стоит, так коленки и трясутся...

Глядит: нищий. Седенький такой старичок — в чем душа держится. Вошел в избу, перекрестился, поставил клюку в угол, побряхтел и сел на лавку.

Рассказал ему мужик про свое горе.

— Плохо твое дело, — говорит старик, — придет к тебе сегодня черт.

Затрясло мужика и стал он просить, чтобы помог ему старик.

— Ладно, — говорит тот, — помогу, только в другой раз черных слов не говори... Что тебе лошадь худого сделала? Тебе бы ей за труд в пояски поклониться.

И велел он мужику принести долото и бурав... Долотом продолбил щель в стене и буравом провертел дыру в полу.

Только он это сделал, откуда ни возьмись, зазвенели по улице колокольцы с бубенцами и подкатили к избе три тройки, а на них людей битком набито. Шубы у всех богатые, шапки собольи, а их лица все черные, долгоносые, а уши, как у свиней...

— Пускай, — кричат, — хозяин, гостей, отвориай ворота!

А старик говорит:

— Сиди, помалкивай...

Распахнулась тогда дверь; с гиком, визгом да присвистом ввалились в избу черные гости...

Встал старичок с лавки, перекрестил рот, дунул на них и сказал:

— Пусть половина из вас будет клопами, а половина крысами...

Сгнули гости... И полезли заместо них в ту дыру, что продолбил он долотом в стене, клопы, а в ту, что в полу пробуравил — крысы...

С той поры и клопов и крыс у мужика видимо-невидимо.

**Александр Рославлев**

**ЛАПОТЬ**

Сказка

Плел мужик лапоть.

Не хватило лыка и пошел мужик в лес липу облупливать, а лапоть то-с собой взял — там, думает, доплету, доделаю.

Пришел в лес, выбрал липу, какая поровнее, и стал лыко драть.

— О-ох-о-о, больно-о!

Оглянулся мужик, — никого нет.

Стал опять драть.

— Больно-о-о...

— Вот оказия-то, кто ж это, — глядит по сторонам, — а сердце-то как молоток: тук-тук-тук... — тук, тук, тук...

— Липа, ты?

— Я...

— Да каким же ты местом голос подаешь?

— Снутра.

— Господи, вот еще дело-то?.. Стало быть, больно.

— Больно... страсть.

— Ах ты беда, — почесал мужик затылок, — а мне на лапоть лыка нужно, что ж мне теперь делать-то?

Жалостливый был мужик — муху не обидит.

— Иди, мужик, к реке, сядь в лапоть и плыви в море, а там увидишь, что будет, — свое счастье найдешь.

Подивился мужик.

— Шутница, — по реке в лапте.

— Верно, мужик, говорю!

Покачал мужик головой, — пошел к реке. Кинул в воду лапоть — глядь — стал он такой большой, что хоть втроем садись — ну и диковина!

Сел в него мужик и поплыл.

Плывет день, плывет другой... на третий выплыл на середину моря. Стоит среди моря на зеленом острове белый град.

Причалил мужик к берегу — а народу на берегу тьма тьмушная.

Все мужику земно кланяются — хлеб-соль подносят. В церквах колокола звонят.

— За что, — дивуется мужик, — мне такая честь?

Ведут мужика по улицам, привели во дворец.  
Входит он, страсть боязно. Везде бархат да золото.  
Привели мужика в белую палату.  
Глядит — сидит перед ним на троне Краса-царевна.  
С лица белая-белая, что снег, а волосы кудрявые, зеленые.

Правая рука у нее завязана.

Поклонился мужик.

Стоит, переминается с ноги на ногу.

— Здравствуй, Степан, — говорит царевна и улыбается таково, душевно, ласково.

— Здравствуй, царевна, впервой тебя вижу, а ты меня знаешь — по имени назвала.

— Нет, не впервой — я и есть та самая липа, с которой ты лыко драл.

Задрожал мужик, как лист — сам не знает, что с ним стало — жизни не рад.

— Прости, царевна. Где было знать...

— Прощаю и за то, что пожалел ты меня, вот тебе мое кольцо, — и протянула ему левую руку. — Не могу сама снять — повредил ты мне правую руку.

Снял мужик кольцо.

— Надень, — говорит царевна.

Надел.

— Теперь ты мой жених, а я твоя невеста.

Засмеялась царевна-липа и сошла с трона, взяла левой рукой мужика за правую.

Стал мужик царем на зеленом острове, в белом граде.

Зажила у царицы рука, лишь остались на ней чуть заметные рубчики на тех местах, где мужик надрез на липе делали.

А лапоть прибили над воротами белого града, и кто проходит воротами или мимо, шапку снимает. Сделан-то лапоть не из липового лыка, а из нежной да белой царевинной кожи.

**Александр Рославлев**

**ТРИ ДУБА**

Сказка

Шел из Соловков странник, слепенький. В каких монастырях он не был, по каким иконам да мощам не прикладывался, не открылись его глаза. Шел странник, пылил лаптями, клюкой по дороге постукивал. Не знал, куда идти, где чуда искать.

Клонилось время к вечеру. Устал странник, захотелось ему есть. Отошел от дороги в сторонку, пошарил вокруг клюкой. Стукнула клюка о камень.

Сел на него странник, вынул из котомки черствого хлеба краюху, перекрестился и стал есть.

У того места, где сел странник, стояли три дуба. Стояли они рядом, сплелись ветвями. как родные братья. Были они крепки, высоки и развесисты.

Сидит странник, ест свою краюху и вдруг слышит:

— Опять, братцы, человек к нам пришел. Попросим его, чтобы за нас помолился.

— Не станет. Сколько приходило... Всякий за своим делом идет, кому о нас молиться?

— Кабы мне про мой грех не рассказывать, так, может, кто и стал бы молиться, а то каждый думает: такого греха не замолишь.

Удивился странник: что, думает, за диковина, кто ж это говорит? Голоса-то такие глухие, словно из-под земли.

— Это мы, Божий человек, — дубы. Трое нас здесь стоит у дороги, трое разбойничков. Наказал нас Господь, заключил нашу душу в древесную плоть... Мы тебе покаемся. а ты помолись за нас, Божий человек.

— Я бы и рад помолиться, — сказал странник, — да молитвы-то мои до Бога не доходливы. Сколько лет вот молюсь, а все слепой.

— Помолись, странник, — просят разбойники, — расскажем мы тебе наши грехи.

— Ну, рассказывайте.

Зашумел правый дуб, словно головой потрянул:

— Тяжко мне... ох, как тяжело! — начал он и рассказал о том, как тридцать три года без малого ходил с буйной шайкою по Оке-реке. Сколько душ загублено, того не считано, крови пролито море целое... Изю всех грехов один грех все-

го памятной: загубил он в лесу девуцу... Собирала она малину сладкую. Надругался он над ней, а потом всадил острый нож между грудей белых, да повесил за косы на высокий сук.

Зашумел средний дуб так, что листья посыпались.

Рассказал он:

Разбойничал он на Волге-реке. Сколько душ загублено, того не считано, крови пролито море целое. Один грех изо всех самый памятный: пришел он раз в скит к пустыннику, и стал пустынник его наставлять:

«Нет, — говорит, — тебе прощения». Взяли его эти слова за сердце. Ударил он его кистенем и пошел прочь...

Задрожал левый дуб, зашатался:

— Страшен мой грех, нет тяжелей его на свете. Не станешь ты, странник, молиться. Уйдешь — не дослушаешь. — И рассказал Василий, как он был пойман воеводой. Попытался он воеводу, про товарищев выспрашивал, а всего-то у него было товарищев — что кистень да булатный нож. Обещал ему воевода, если выдаст головой других — отрубить ему правую руку и отпустить на волю. И стал он со страху, на кого попало поклеп вести, а чтоб крепче воевода словам его поверил, повел поклеп на родную матушку.

— Да, тяжелы ваши грехи, — вздохнул странник, — а все ж помолюсь за ваши души грешные.

Стал странник на колени и начал молиться. Молился он пятнадцать лет. Приносили ему вороны воду и хлеб. Источил он коленями кремень-камень...

Первым повалился правый дуб. Вышла из него душа разбойничья.

Сказала душа: «Светло мне и радостно».

Вторым упал средний дуб. Вышла из него душа разбойничья. Сказала душа: «Светло мне и радостно».

А третий дуб все стоит, как стоял.

Молился странник до кровавых слез; вес не было третьему разбойнику прощения.

— Господи! — раз воскликнул странник в отчаянии, — просил я тебя, чтобы ты открыл мои глаза. Если есть такой грех, которого ты простить не можешь, то не хочу я глядеть

на белый свет и лучше мне остаться слепым до смерти.

И повалился тут третий дуб. Вышла душа разбойничья, сказала: «Светло мне и радостно».

А у старика раскрылись глаза, и восхвалил он Господа за Его мудрость и милосердие...

**Александр Рославлев**

**СИДЕНЬ-ПОСИДЕНЬ**

Сказка

Сидел Сидень-посидень на лавке девяносто лет.  
Отросла у сидня борода до полу. Играли ей котятка. Ре-  
бятишки из нее, для ласы, волос дергали.

Сидел Сидень и пел.

А песня-то у него была короткая — всего в два слова.

— Сижу-у, гляжу-у!..

Кто что ни делает — дурное иль хорошее, а он, знай, свое  
тянет:

— Сижу-у — гляжу-у!..

И такой у него голос был, в душу входчивый, что кто де-  
лал зло—тому от его песни худо становилось, а кто добро —  
тому сладостно.

Ехал раз мимо избы купец и сломалось у коляски коле-  
со.

Вылез купец из коляски — вошел в избу.

Не перекрестился купец — шапки не снял.

А Сидень-посидень сидит, поет:

— Сижу-у, — гляжу-у!..

— А не твое дело, — говорит купец, — и сиди, коли ног  
нет!

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Ладно — гляди!..

Сел мужик за стол, приказал дорожный погребец при-  
нести, — достал из пего водки полштофа, кислой капусты  
на закуску потребовал и стал из серебряной чарки пить.

А Сидень-посидень все свое:

— Сижу-у, гляжу-у!..

— Ах ты, седой черт! — заругался купец. — «Сижу — гля-  
жу», — да наплевать мне на тебя! Пью водку и буду пить! Кто  
мне указчик?!..

Выпил купец десять чарок.

Захмелел.

— Хочу, — говорит, — чтобы девки плясали. Гони, сго-  
няй всю деревню!

Мужик-то, у которого жил посидень, был бедный и, вес-  
тимо, рад, — что купец разгулялся. Думает, нажива будет...  
Мигом, куда надо, сбегал и собрал. Натолклось народу пол-  
ная изба.

Гуляет купец — рублями хоть реку пруди! Туда-сюда так и швыряет. Перепились парни с девками. Срамотища пошла.

Непристойные песни орут, а солдатка Арина скинула с себя все и, как мать родила, заходила по избе белой лебедью.

Руками и ногами такое выделывает, что купец инда вспотел весь, так его забрало.

А Сидень-посидень:

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Убрать его отсюда! — заревел купец. — Что он мутит?

Все попритихли, — стоят — не знают, что делать.

— Что стоите — боитесь, что ль?

Подошел купец к посидню и взял его за бороду.

Все так и ахнули.

А посидень все свое:

— Сижу-у — гляжу-у!..

— Ты у меня сейчас поглядишь, — побагровел купец, — дам я тебе выволочку!

И давай посидня за бороду трясти.

— Ну, замолчишь?

— Сижу-у—гляжу-у!..

— Ах ты пес, так на ж тебе, старый хрыч!

Размахнулся купец, а не пришлось ему посидня ударить: повисла рука, что плеть.

Хотел было ее купец левой рукой пощупать — и с той то же.

— Каменею, — кричит, — ах, каменею!

И взаправду, стал он серым, повалился на пол. Глядят все: что за диво? Вместо купца — лежит похожий на человека камень серый.

Поняли все, — что поделом наказал купца посидень. Выволокли камень наружу, да с горы в реку!

Вернулись потом в избу, видят: ходит посидень.

— Встал дед. Вот чудеса-то!..

— Дождался, кого надо, пора и встать! — И засмеялся посидень, с лица посветлел.

**Александр Рославлев**

# **АНЧУТКА**

Сказка

Днем Анчутка по щелям прятался, а ночью вылезал.

Чего только Анчутка ни выдумывал, как только Анчутка ни проказил, а снились его потехи пьяным мужикам да срамным бабам.

Жил на деревне Антон, божий старец, такой добрый, мухи не обидит.

И так и сяк к нему Анчутка подлизывался, напускал на него дурные сны, а старец спал, как младенец, и ничего не кроме серебряных ангельских крыльев да голубых Господних воздухов.

Заболел тяжело старец, пришло ему время помирать...

«Вот, — думает Анчутка, — когда ты — мой-то!»

Глянула ночь в окна, черная со звездами, золотыми гвоздями в небе. Вылез Анчутка из щели и, закидывая за плечи тонкие, длинные скользкие ноги, побежал к старцу.

Шмыгнул под дверь в избу, скрутился жгутиком, прыгнул к старцу на лавку и лег в головах. Лежит, усами пошевеливает, глазами позыркивает — напускает на старца грешные сны..

А старец-то не спал, только глаза у него были закрыты — так лежал, к смертному часу готовился, о жизни своей думы благочестивые думал.

Услыхал он, как Анчутка на постель сиганул, и запало ему на мысль поймать паскудника, чтобы он сонный покой не смущал, грешных снов не творил.

«Ох, испить бы», — говорит, словно во сне, старец.

Услыхал Анчутка — сейчас к рукомойнику, дунул на него — обернул рукомойник четвертью, а вместо воды — водка — и к старцу.

— На, — говорит, — выпей, родимый, — а сам обернулся дебелий бабой — кабацкой сидельщицей.

«Хитер ты, — думает старец. — Вина я не пью, водицы бы...»

— Это-то вода — какая водка? Хлебни-ка...

— Ан нет, — дух от нее нехороший, винный дух..

— А ты хлебни, дедушка!

— Ах ты такой, сякой, — поднялся дед, схватил Анчутку — бабу дебелиую за руку и хочет крестным знаменем в прах

обратить.

Пропала баба — а вместо нее — мышь.

Держит ее старец в руке.

— Попался! — говорит.

А Анчутка плачется, таково жалобно просит: «Что хочешь, делай со мной — только не крести!»

— Ладно! Лезь в четвертную.

— Это не четвертная, а рукомойник!

— Все одно, лезь!

Сиганул Анчутка в рукомойник.

— Так-то, а теперича сиди здесь до скончания света! — перекрестил старик рукомойник.

Да слаб был, не удержал в руке — упал рукомойник на пол и разбился.

Завизжал Анчутка, закорчился. Крест всего его спалил.

— Ох-хо-хо! — простонал старец и помер.

...А Анчутка скорее из избы старца в соседнюю. Забил-ся в первую попавшуюся щель и стал ожоги залечивать. Целых сорок дней сидел, пока не зажили.

**Александр Рославлев**

**КОЗЛИНЫЕ СКАЗКИ**

## I. Козел

В той ли дальней земле, где сидят на царстве Гога да Магога — железные носы; за тем ли тыном из трех веретень Дурищи-Бабищи, Латефы-Манефы, что сама себе пятки обглодала меж рудых песков, по точеным камешкам бежит речка «Смородина», глубокая-преглубокая.

Ходит у речки рыжий козел, бороду мочит, броду ищет.

Выплывают водяницы на козла посмотреть, козлиных сказок послушать — тело девичье тонко, да гибко, что ивовый прут, а рыбий хвост серебром отликает:

— Козел-козлище, метла бородище, а хочешь, скажем, где мелко?

Уставится на них Козел, а вода с бороды кап... кап... кап...

— Слышь, аль нет, хочешь, скажем, где мелко?

И смеются, словно их кто щекочет.

— А где?

— То-то, где. Расскажи наперед сказку — покажем.

— Знаю я вас. Покажете, как намедни.

— Вот те, черт, покажем.

Сядет Козел по-собачьи, на задние лапы, брюхо копытом почешет и начнет сказывать.

Взявшись за руки, подплывут водяницы к самому бережку и слушают — глаза большие, зеленой осоки и мутные.

Каких только Козел сказок не знает, и так то у него все складно выходит, а присказки, — ох, и чудные, со смеху помереть.

Трень-брень, старый пень,  
Надел шапку набекрень.  
Не велика, не мала  
Шла корова . . . . .

Визг, брызг на смородине, кулики да утки в подоблачье,  
а рыба-рыбешка в тину на дно.

Кончит Козел сказку и спрашивает по уговору:

— Показывайте теперь, где мелко.

— А здесь близко, беги за нами, не отставай.

Плеснут хвостами и поплывут, а плавают-то быстро, еле-еле Козлу угнаться. Устанет Козел, глаза вылупит.

— Ох, заморился. Далече еще?

— Здесь, Козлище, здесь, бородища.

А сами только шеями вертят, да пузыри пускают. Остановится Козел, чуть с ног не валится.

— У, чтоб, вас, проклятые. Нет моей моченьки.

— Зря бранишься, у брода стоишь.

Только Козел с берега ступит, схватят они его за бороду, да все разом как дернут.

Он-то упирается, головой крутит, а им потеха. Искупают Козла и под воду.

Выскочит Козел на берег сам не свой и опять броду искать, а где на «Смородине» брод, одни омуты.

## II. Латефа-Манефа

Сидит Латефа-Манефа на печи, веником дым разгоняет, в трубе ворона гнездо свила, — влезть бы на крышу, да трубу-то вычистить, — Латефе-Манефе невдомек, такая дурища.

— И с чего это, — думает, мне так глазыньки ест?

Слезы, что горох из мешка, а на догадку ума нет.

Вытопится печь, станет Латефа-Манефа хлеба сажать, — не тем концом лопату сует. Упрется лопата, хлебу дальше шестка ходу-то и нет, а Латефа-Манефа стоит сокрушается:

— Мала — печка-то.

Голова у Латефы-Манефы с пивную корчагу, да со сквозниной, и нет в ней ничего, окромя копоти.

Из-за долгих волос всклокоченных, в грязи валеных, Латефе-Манефе свету не видать.

Ходит Латефа-Манефа раскорячившись, брюхо волоком тащит, носом землю роет.

Позвал раз черт Латефу-Манефу в гости.

Собралась бабица — сборы-то у нее недолгие. Лапти на ухо повесила, да и пошла.

Идет луговиной скошенной — колко; ельничком да березничком — дерко; стежкой болотной — мокро.

Ей бы лапти надеть, а она села на станежник\* и давай пятки грызть. Грызла, грызла, до кости догрызла и пришла к черту без пятюк.

— Не способно, — говорит, к тебе идти. Знала бы, не пришла.

А черт выколотил трубку о копыто, когтем выскоблил и смеется:

— А ты бы на левое ухо лапти-то повесила. Живо бы дошла.

— Ишь ты. Кабы знать-то...

Стал черт Латефу-Манефу потчевать, поставил перед ней миску с петушиными гребешками. Самое это у чертей сладкое кушанье. Гребешки-то от тех черных петухов, которых при колдовании режут.

Взяла Латефа-Манефа миску, да всю сразу в рот и опрокинула. Черт даже облизнуться не успел. Жарил-парил и отбедать не пришлось.

«Позвал, — думает, — шкуру, — этакая гоегья и хозяйина слопает. Пстой, я те угощу».

— Хороши?

— И-и — какие... — и глазища закатила.

Ушел черт с миской — приносит полную железных желудей.

— Вот, откушай — то была еда, а это на заедочку.

Схватила Латефа-Манефа и не желудей, ни миски, только хрустнуло.

— Чтой-то, — говорит, — быдто я косточку проглотила.

Почесал черт переносье, поглядел на Латефу-Манефу, искоса, да боком от нее, боком шмыгнул за дверь, морду стрелкой и ходу, а уж он ли не видал нечисти.

Пождала, пождала Латефа-Манефа, лапти с правого уха на левое перевесила и пошла домой...

---

\* Муравьиная куча (Прим. авт.).

Пришла и завалилась на печь. Изба от храпа ходуном заходила — заскрипели на ней железные обручи.

Брюхо у Латефы-Манефы до полу свесилось — забурчало, — поглядеть, да плюнуть...

Вот она какая, Латефа-Манефа.

### III. Домовой

Сидел голодный мужик в избе нетопленной. Тужил да думы думал... Живот веревкой перетянул, инда в глазах замурашило, и все есть охота.

Промаялся до ночи, ударил кулаком по столу: «Скручусь, — говорит, — с домовым, коли такое дело», — надел шапку и к кузнецу.

Темень была, своего пальца не увидишь, а звезды такие острия, что глазам больно.

Ущипнул мороз за щеку, да за другую, да за нос, стрельнул под рубаху. Живо мужик добежал до кузницы.

Видит — не спит кузнец — железо калит, меха раздувает.

Поклонился мужик:

— Бог на помочь.

Забурчало в огне, завило его вихрем, и весь жар раскидало.

Плюнул кузнец с досады:

— Кол, тебе, дураку, в глотку. Я черту подкову кую, а он такие слова. Сказывай живей, с чем пришел.

Испугался мужик, еле языком ворочает:

— Хочу с домовым скрутиться. А где его взять? Окромя тебя, спросить некого. Сам знаешь.

— Домового тебе? Возьми из подлаза веник, оберни его в тряпку, а заместо головы репу насади. Зарежь черного петуха и ступай в овин. Стань лицом в левый угол, окропи веник петушиной кровью и покличь до трех раз. Тут тебе домовый и объявится. Только смотри, он без дела сидеть не будет. Не дашь работы, задушит.

— А как покликать-то?

— Как покличешь, так и ладно. Хоть Иваном, хоть Федором.

Сказал мужик спасибо, пошел, украл у соседа с насеста черного петуха и сделал все, как говорил кузнец. Первый раз покликнул, не отозвался домовый, и другой то же, а в третий, как крикнул:

— Иван...

Заворошилось в углу, вырос веник под самую слягу, была репа и нет — пышет огнем голова лошадиная, ощеренная.

— Я здесь, — ржет, — давай работы.

Затрясся мужик — со страху память отшибло.

— Давай работы, — и тянет к мужику лапы, шестипалые, волосатые.

— Испеки пирог с кашей.

Кинулся мужик из овина в избу — глядит: уж пирог на столе, а домовый с печи лезет:

— Давай работы.

Замешкался мужик — туда, сюда:

— Стотовь бочку денег.

Только сказал — загрохотала, покатила по полу медная бочка.

Мужик диву дался, и рад и не рад; больно-то шустр домовый.

А тот опять:

— Давай работы.

Смекнул мужик, что ежели не обойдет домового, пропасть ему.

— Растопи, — говорит, — снег, покажь ночью солнце, — а сам к окну.

Видит — тает снег. Заиграло в лужах вешнее золото и капель с крыш закапала. Высыпал народ на улицу — пошел толк, перетолк: «Что за чудо чудное, по зиме весна, ночью солнце».

Мужик ажно на лавку повалился. Идет на него домовый.

— Давай работы — давай-ай.

Увидал мужик на дворе собаку. Эх, думает, сейчас помираться — поживу еще маленечко.

— Раскрути псу хвост.

Домовой на двор, выдрал хвост с куском мяса и стал раскручивать.

Вытянет, разгладит его, а он опять свернется.

Бился, бился, плюнул:

— Твое, — говорит, — мужик, счастье, — и провалился сквозь землю.

Прожил мужик до старости в чести и богатстве — рассказывал-растабаривал, как домового перехитрил, а куцую собаку за родную мать почитал.

То ли еще бывает.

**Александр Рославлев**

**СКАЗОЧКИ**

## І. Корабль

Ходил по деревне Ванька-Лопух; один лапотъ на ноге, а другой в руке.

Остановится супротив окна, три раза поклонится и говорит:

— Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом!..

— Куда же ты, Ванька, собрался-то?

— К Латефе-Мемефе, за море!..

Усмехнутся, покачают головой: что с дурака взять? Мелет, а что — сам не знает.

На лбу у Ваньки шишка, нос подковыркой, а торчкова-тые уши — аршином мерь. За уши-то Лопухом и прозвали.

Ударили раз Ваньку на гумне по голове цепом, с той поры он и зашелся...

Был на деревне праздник — парни с девками хоровод водили, а старики на завалинках про турку ребятам рассказывали.

Приставал Ванька к тому да к другому, надоел всем.

Затащили Ваньку в хоровод, поставили посередке и пошли вокруг него, заголосили.

Постоял Ванька, поглядел, да в ноги:

— Прощайте, люди добрые, не поминайте лихом!

Положил лапотъ на землю и сел на него.

Глядят все — глазам не верят: нет лаптя, а вместо его — корабль. Паруса надуты, руль по ветру.

Поднялся корабль и поплыл в небо, словно лебедь белый.

Глядят все вверх — у парней шапки попадали, у девок платки на затылок слезли.

— Эко диво... — Стоит Ванька-Лопух на носу корабля и шапкой машет.

— Ванька, куда ты? — крикнул кто-то.

— К Латефе-Мемефе, за море!

Бросили водить хоровод, разошлись все — и до поздней ночи только и разговоров было, что о Ваньке.

Когда на деревне все уже спали, Ванька на том берегу моря спускался к золотому дворцу. Выходит навстречу ему Латефа-Мемефа. На голове у Латефы корона огневая, вокруг нее змеи черные обвиты. Красоты Латефа неописанной...

Стал корабль у дворца, у самого крыльца.

Вышел из него Ванька-Лопух, шапку в руках держит и ухмыляется.

— В какой руке счастье? — спрашивает Латефа-Мемефа, — угадай!

— В правой, — говорит Ванька.

Известно, дурак — сразу отгадал.

Раскрыла Латефа правую руку, а в ней — кольцо.

Обрадовался Ванька.

Взял кольцо, любитесь.

— Что хочешь, то и будет по твоему слову, — говорит Латефа.

А чего Ванька хочет? — Ничего ему не нужно.

Молчит Ванька.

— Что ж, чего твоя душа хочет?

Опять молчит Ванька, ухмыляется.

Погладила Латефа Ваньку по голове, поцеловала в очи и молвила:

— Лети назад!

Поднялся корабль, и глазом Ванька не моргнул.

Идет он опять по деревне — один лапоть в руке, а другой на ноге, а на среднем пальце левой руки кольцо блестит.

Летела ворона. Увидела кольцо и просит:

— Кар-кар. Дай!

Ухмыляется Ванька.

Сняла ворона клювом с пальца кольцо и была такова.

— Кар-кар. Спасибо! — кричит.

А Ваньке хоть бы что, идет — под ноги не смотрит, во весь рот ухмыляется.

Выглядывают из окон мужики: Ванька.

— Где был? — спрашивают.

— У Латефы-Мемефы.

— Что видал?

— Ее самую.

— Ну и дурак!

А того не знают, что счастье у него в руках было.

С тех пор и повелось: дуракам счастье.

Это от вороны узнали, не донесла кольца до гнезда, потеряла и всем про то разболтала.

## II. Чернокнижник

В дупле древней липы жила сова. Днем слепая сидела, а ночью летала за тридевять земель в Турецкое царство к чернокнижнику — премудрости учиться.

Поседела она в ученьи, а всего только узнала, что в первой книжке написано.

Книг же было тринадцать сороков.

Затосковала сова — скоро время помирать, а она ничего еще порядком не знает.

— Так и так, — говорит чернокнижнику, — как бы мне все науки сразу произойти. Коли ты чернокнижник, так должен ты и это знать.

Потер себе плешь чернокнижник и говорит:

— Трудно это, я сам всего до тридцать третьей книги учен.

— Ладно, что трудно, а все ж таки можно.

— Можно-то можно.

— Можно — так сказывай.

— Дай правый глаз выкусить — скажу.

Подумала сова — неспособна она без глаза-то. Ну, да что делать?

— Выкусывай, — говорит.

Вынул чернокнижник из смрадного рта четыре передних зуба — два верхних и два нижних. Вставил вместо их рыбы — тонкие да длинные. Нацелился на свиный глаз.

Не успела сова моргнуть — глядь, уж и выкусил.

— Ахти, батюшки, — завопила сова. — Глазок мой, глазок!..

— Ладно, старая. За то все, что надо, сейчас узнаешь.

Плеснул он сове, чтобы кровь не шла.

Мигом рана зажила. В кровавую глазницу из красной склянки живой воды влил, взял со стола одиннадцатую книгу, развернул ее на поставце и говорит:

— Слушай...

Носом почмыхал, переносье пальцем потер и стал читать:

— А кто хочет сразу все науки произойти, тот пусть сойдет в ад и у его святейшества Асмодея снимет с левой руки перстень. В том перстне скрыта капля — слеза Асмодеева, которую пролил он в час нисхождения с неба в преисподнюю. Оную каплю проглотивший, сразу все тайны небесные и земные уразумет.

— Слышала? — сказал чернокнижник и закрыл книгу.

Задумалась сова:

— Как достать перстень? Асмодея перехитрить?

Думала, думала, поднялась и полетела к себе в дупло. Решила, что дома додумает.

Рыл крот ходы подземные. Около липы, в которой сова думала — земляных кучек понасыпано!

— А скажи, крот, — спрашивает его сова, — живешь ты под землей, — хитрые ходы роешь, — не знаешь ли, как в ад попасть?

— Знаю, — говорит крот.

— Как?!

— Согреси как поболе и попадешь.

— Так-то я и без тебя знаю. Как иначе?

— Иначе? Не знаю, как иначе. — И принялся за свое дело — повел ход вокруг липы.

Кого ни спрашивала сова, никто не знает, где в ад дорога. К чернокнижнику летала, добивалась, а он только усмехается.

— Что обещался, то сказал. Чего пристаешь?

— Выкуси левый глаз, только скажи!

— Зачем мне левый? левый глаз грешный.

Так и не узнала сова, как в ад ей попасть, и с тех пор каждую ночь в ад влета ищет. Порхает по земле крылом, под каждый куст заглядывает...

### III. Козел

Ходил козел у реки, глядел в воду, бородой мотал.

Вышла из воды водяница. Села на отмели, на мелкий желтый песочек, и говорит козлу:

— Что ходишь? Давай бороду расчешу.

Сидит голая, чешет длинные волосы гребнем из рыбьей кости.

— Мне до тебя не допрыгнуть.

— А ты попробуй, — смеется водяница.

— А как утону?

— Не утонешь — мелко — за рога вытащу.

Подумал козел, подумал—охота ему с расчесанной бородой походить...

Разбежался — хотел перемахнуть на отмель — не вышло дело.

Отбежал от реки еще дальше и пустился изо всей мочи.

Не попал на отмель.

Бултыхнулся в воду..

— Тону!.. Хватай за рога!.. Тащи!.. Ох, тону!..

А водяница схватилась за бока, помирает со смеху.

— Тони. Мне-то что.

Мелькнули козлиные рога раз, другой, и ушел козел под воду.

Нырнула с отмели водяница. Подплыла к козлу.

Лежит козел. Раздуло его. Ноги вытянуты.

Запустила водяница руки в козлиную шерсть, ногами в спину ему уперлась, назад откинулась. Тянется — от сладости, да глаза зажмурила. Вдруг пополз козел по дну.

Глядит водяница — зацепил его за шею железный багор и тащит.

Она козла к себе, а багор — к себе.

Слышит на берегу человеческие голоса...

— Здесь — тяни!..

Видит водяница — не хватит у нее силы.

Хотела козла от багра отцепить и отцепила было, да вдруг сама волосами и запуталась. Потянуло ее наверх —

разводит она руки, головой мотает. Хоть бы ты что — тянет багор.

Блеснул в глаза ей белый свет — застонала она протяжным голосом.

Зашумели на берегу.

Бежит из деревни народ, — а с лугов косцы.

— Русалку поймали. Русалку...

Разметалась водяница на берегу, притворилась мертвой.

Мальчишки ее за руки тянут. Мужики махорочный дым в рот пускают.

А она не шелохнется.

— Мертвая...

— Какая красавица! Не гляди, что поганая...

— Тоже тварь...

Стоят — не знают, что с ней делать.

— Это она козла уволокла!

— Вестимо, она. Сам он, что ль, в воду полезет.

А водяница лежит, думает: может, уйдут...

— Сжечь ее!..

— Неси, ребята, хворосту!..

Приоткрыла правый глаз водяница, видит, до реки всего шага три.

Улучила время, когда никто напротив не стоял, — метнулась по-рыбьему и была такова.

— Ах, паскуда! Уплыла!..

А водяница от того места, где лежал козел, поплыла что было силы в самую глубь реки, в темный омут, что за поповой мельницей.

**Александр Емельянов-Коханский**

**МЕСТЬ**

Для дорожнаго чтенія.

А. Н. Емельяновъ-Коханскій.

Местъ.

Коварная Панна. — Въ аду. —

Ночь подъ Ивана Купала. —

Страшное наказаніе.

(ЛЕГЕНДЫ).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1897.

В овраге глубоком, вблизи от Днепра, засели огромные шайки разбойников страшных — двух братьев Гвоздя и Машеки, которых боялся не только один незащищенный народ, но множество рыцарей храбрых... Они обладали такою ужасною телесною силой, такою безумною отвагой, таким бессердечьем и злобой, что битву решали в мгновение, как только в главе появлялись полчища своих безобразных... Молва о злодействах двух братьев проникла повсюду... Они убивали без всякой пощады мужей, ловили и мучили женщин, с каким-то блаженством и страстью губили малюток и пили их кровь с наслаждением... И берег Днепра был покрыт могилами жертв их злодейства... Особенно страшен и грозен был брат по прозванию Машека. Его все боялись... Он волею своей подчинил и родимого брата Гвоздя, который его почитал и любил, что отца дорогого... Блестящего зора Машеки никто перенести был не в силах, а женщины падали прямо без чувств при виде горящих, как уголья, глаз... Однажды чрез их логовище старуха с тремя дочерьми в большой колымаге хотела проехать в Смоленск... Огромные деньги с собою везла она в город, где думала замуж отдать красавиц своих дочерей за знатных, богатых князей. Пять сотен рабов охраняло предлинный обоз, колымагу... Разбойники знали давно, что скоро им будет возможно хорошей добычей потешить свои молодецкие руки... Они окружили обоз и дружной толпою напали... Рабы, испугавшись сначала, пришли от волнения в смятение, потом ободрились, созная, что бегство уж их не спасет... Кровавая сеча не на жизнь, а на смерть началась... Стон, крики, проклятья, бряцание копей, мечей наполнили воздух... Разбойники стали редеть... Как вдруг появились два брата с дружиной своею отборной... Услышавши голос Машеки, увидев его пылавшее гневом лицо, злодеи, собравши последние силы, отчаянный сделали натиск и смяли рабов. Они отступили... Разбойники, мстя за гибель товарищей храбрых своих, настигнувши, их перебили... Не тронули только они колымагу, в которой металась от ужаса сестры, несчастная мать их старуха... Машека к ним сам подошел и был поражен красотой младшей прекрасной сестры... Страсть всем телом

его овладела... Как коршун хватает голубку, вонзив в нее острые когти, так он, подошедши к красавице юной, схватил и понес ее в мощных руках в землянку свою, предоставив других двух сестер в утеху родимому брату Гвоздю, развратным своим молодцам... Красавица билась в руках... Просила его со слезами, чтоб он отпустил ее к сестрам и к матери милой, чтоб он умереть ей позволил вместе с родными и сделаться жертвой свирепой толпы... Но он не видал слез горячих, не слышал молений ее: он страстью пылал как огнем, смотря на прекрасное, нежное тело девушки чистой, невинной... Теперь он не шел, а бежал и скоро достигнул землянки своей. Вошедши в нее, он внес туда ношу свою дорогую и прямо на ложе, покрытое шелком, парчою, ее уложил и в страстном порыве, забыв, что разбойник он лютый, шептал ей, как мальчик влюбленный, бессвязные, нежные речи; ласкал, миловал, целовал, прижимая к груди богатырской своей младую, прекрасную деву... Она терпеливо сносила объятья и ласки Машеки... но потом от стыда и от страха рванулась и, с силой отбросив злодея, хотела бежать из землянки... Машека, поймавши, схватил ее снова... Она присмирела, услышавши клятвы его, обещанья, в которых сулил он: свободу ей дать и родным, отпустить их сейчас же на волю, как только она исполнит его приказанья и даст насладиться ее красотой. . . . .

И он, позабывши данное ей обещанье, выхватил меч свой из ножен, сказавши со злобой: «Умри, не хочу я, чтобы, кроме меня, другому кому-нибудь ты доставалась!», ударил тяжелым и острым мечом по шее ее лебединой так сильно, что головка красавицы юной, отделившись от тела, упала на пол земляной... С хохотом диким поднял он ее и, взглянув, откачнулся. Ему показалось, что есть отдаленное сходство в прелестных чертах красавицы мертвой с тою коварною девой, ему изменившей, сгубившей всю жизнь молодую его и доброе, честное имя... «За что изменила ты мне?!..» — в смущеньи шептал он... — «Зачем притворялась, что любишь?!.. Зачем перевенчалась с другим, меня

истерзавши жестоко?!..» Долго Машека стоял, стараясь представить начало, конец любви роковой... Он вспомнил счастливое детство, высокий свой замок, в котором родился и вырос... Родную семью дорогую и славные битвы за честь, за свободу отчизны... Первую встречу с прекрасной княжной...

Бессонные ночи, вдвоем проведенные с ней в густом и тенистом саду... Обман и насмешки княжны... Мученья отвергнутой, страстной любви... Решение сделаться вором, разбойником страшным, чтоб грабить и резать ни в чем не повинных людей, страданиями их наслаждаясь. Разврат и кощунство над Богом, над верой святой православной... Соблазн, совращение с прямого пути родимого брата Гвоздя... А все для того, чтоб забыться в пороке, в сердце любовь погасить... И слезы раскаянья, горькие слезы текли по смуглым и бледным щекам... Машека рыдал, как ребенок... Но вслед за слезами он в ярость пришел и, с пеной у рта закричав: «Найду я тебя, лиходейку, найду; изрежу твое белоснежное тело в куски!», упал, истомленный душевной тревогой, без чувств на труп уж холодный убитой недавно красавицы юной... Очнувшись, Машека не мог успокоиться долго... Он жить не хотел... Ему надоело губить понапрасну людей, кровью горячею их упиваться...

Лежал как-то раз он в землянке и занят был мыслью одною: какую избрать себе смерть? Светлая, лунная ночь спустилась на землю... Месяц гляделся в Днепре, сверкая в волнах его синих; бросал серебристый свой луч в окошко землянки Машеки... Разбойник лежал недвижимо, объятый тяжелою думой... Вдали где-то стоны и крики в ночной тишине раздались; потом все затихло... Он вздрогнул... Ему показался знакомым тот голос, который кричал... Поспешно надевши кинжал, он выбежал вон из землянки и, сев на коня ретивого, помчался в то место, откуда неслися рыдания и стоны. Примчавшийся вихрем туда, он видит, что женщину вяжет дружина его... Спрянув с коня, подбегает к толпе и смотрит, не веря глазам, что вяжут злодеи княжну... «Стой! — заревел он, к толпе обращаясь... — Оставьте в покое ее — я сам с ней расправлюсь!» Княжна же, узнавши

Машеку, услышавши голос его, от ужаса вся задрожала... Она поняла, что случайно попала с мужем в разбойничий, страшный притон безжалостных братьев Гвоздя и Машеки. Она поняла, что настала для грозного мщенья пора и что уже жить ей осталось немного. Она представляла себе, как будет Машека ей мстить, каким подвергать станет пыткам, припомнив коварство ее и насмешки над ним!.. Но, видя, как мужа терзает Машека, с каким хладнокровьем он хочет пронзить его сердце кинжалом, она порешила своими волшебными чарами снова опутать Машеку, как сетью; вновь притвориться любящей пылко его, пожертвовать даже и женскою честью, стыдом, но с тем, чтоб зарезать Машеку, отмстив ему страшно за муки и смерть дорогого и милого мужа... Машека, покончивши с мужем, стоял, погруженный в раздумье... Княжна подбежала к нему, упала пред ним на колени, промолвив: «Прости — не губи меня, милый Машека, забудь про измену мою и снова меня полюби: ведь замуж я вышла насильно... Поверь мне, желанный, отбрось все сомненья, и буду я верной женою, послушной рабой до самой могилы твоей... О, если бы знал ты, как сердце мое разрывалось на части, когда обнимал, целовал меня муж нелюбимый, так ты бы разлучника-мужа не сразу убил бы кинжалом, а предал мучительной, медленной смерти!.. Поверь же мне снова, Машека!.. Прости за измену: ведь замуж я вышла насильно...» Машека повеял коварным и лживым речам, забыл про измену и снова княжну полюбил с пылкою страстью души молодой... Княжна же, попавши в землянку к нему, убила Машеку, когда он уснул, усмиренный, как зверь, близостью женщины милой, прекрасной, любовью ее насладившись... Разбойники в ужас пришли, узнавши о смерти Машеки... Они разбрелись, схоронивши героя в сырую, холодную землю; и место, в котором покоятся кости Машеки, прозвали могилую «льва»... Осталась только дружина его: она, не желая расстаться с своим атаманом, селение там основала, прозвавши его Могилевым.

**Александр Емельянов-Коханский**

**КОВАРНАЯ ПАННА**

Был страшный двенадцатый год... По всей необъятной России бродили французы, а с ними двенадцать языков. Полчища их, взявши Смоленск и соседние с ним города, подступали уж к самой древней столице державной России — Москве... Волненье царило повсюду... В это тяжелое время для всех истинных граждан, любящих искренне матушку-Русь, жили смиренно и тихо в городе Минске два брата с матерью, дряхлой старухой... Мать не могла наглядеться на милых своих сыновей... И братья, как добрые дети, платили ей тою же пылкой любовью... Трудились с утра до утра и доставляли матери счастье, покой честным своим поведением... Они поклялись пред образом Бога-Страдальца Христа жить неразлучно до самой могилы и тайн не иметь друг от друга... «Пусть Бог нас накажет, — сказали однажды два брата матери милой своей, — если мы ссориться будем и старость твою омрачать... Пусть, матушка, будет тобою на веки проклят тот из нас, кто первый начнет враждовать или стремиться к блаженству, веселью, забывши про счастье брата, забыв про спокойствие матери милой»...

Рядом почти с их домишком жил один честный и знатный, но обедневший магнат с своею красавицей-дочкой... Он был их старинный знакомый и друг, и приятель отца, который скончался от страшной болезни — холеры. Задолго пред смертью отец их, как будто предчувствуя гибель свою, взял обещанье с него, что он не оставит детей малолетних его и будет воспитывать их, защищая от всяких напастей, обид... Свято исполнил свое обещание магнат... Воспитал и поставил на ноги, как мог, сыновей умершего друга, товарища детства... Слава о прежнем богатстве магната ходила по Минску! Все знали его, а про дочку его ходили по городу целые сказки... Вся молодежь была от нее без ума... Никто из прохожих, заметив ее, идущую тихо и гордо по улицам Минска, не мог не придти в удивленье при виде такой неземной красоты... Но отца беспокоило это вниманье толпы к дочери милой, прекрасной... Он уж по опыту знал, как дурно влияет на нравственность юной души эта молва, восхищенье пред внешностью чудной... Его постоянно тревожила мысль, что дочь из невинной девчурки становится

больше и больше какой-то холодной, бездушной статуей... Все увещания и просьбы с его стороны были напрасны... Она не хотела и слушать разумных и честных советов отца и стала нарочно, желая доставить мученья ему, двух братьев в коварные сети свои завлекать... Братья попались в ловушку: влюбились в нее не на шутку, сами не зная того, что невольно они нарушают ту клятву, данную ими пред образом Спаса Христа... И панна, заметив, что братья влюбились в нее, продолжала смеяться над ними... Назначала свидаться в лесу с каждым отдельно: то с старшим, то с младшим... Братья ходили тайком друг от друга на эти свиданья... Слушали речи ее, в которых она говорила, оставшись с каким-нибудь братом вдвоем, что любит его одного пылкой и страстной любовью, глубокой, как море, и чистой, как небо в безоблачный, солнечный день... Верили ей и даже из ревности часто, забыв про союз свой и дружбу, клеветали, пришедши в назначенный час на свидание к ней, друг на друга, желая *умалить* достоинство брата родного в глазах лиходейки... Они и не знали, что панна смеется над ними, не знали, какую ужасную смерть им готовит она своею безумной игрою...

Однажды коварная панна была у старухи-матери братьев в гостях и с нею вела разговоры про милых ее сыночек... Старуха, пытливо глядя на нее, спросила у ней под конец: «Скажи мне, прекрасная панна, не знаешь ли ты, отчего сыночки мои приуныли?.. не слышала ль ты от кого, быть может, влюбились они, особенно младший, в какую-нибудь лиходейку-занозу; их много, ты знаешь, голубка, сама, шатается нынче!.. Не знаю, что делать мне, бедной, как горю помочь?!.. Недавно ко мне приходил твой отец, — я к нему, он не знает... Тогда я спросила своих сыночек: “Расскажите мне, милые детки, почему вы притихли?.. Отчего затуманились очи прекрасные ваши?!” Они, помолчавши, сказали: “Тебе показалось, родная, мы в добром здравьи и со всем ни о чем не тоскуем”... Но я не поверила им и решила, что скрывают они от меня свою грусть, боясь меня расстроить... Пошла к ворожее и, давши ей денег, просила ее погадать, что приключилось с моими детьми и какая

причина их грусти... Посмотревши на воду, колдунья сказала, что милых моих сыновей изводит соседка, коварная панна с огромною черной косою... Я обомлела; сердце болезненно сжалось от дум: неужель это ты, моя ягодка-панна, ты тоже, кажись, ведь соседка, при этом еще и с чудною черной косою; другой же соседки с такою приметой близости нас не живет... Но, подумав немножко, решила, что ты не способна сгубить ни за что ни про что милых моих сыновей, зная, что этим заставишь *меня самое* ложиться живою в сырую могилу... Скажи же, красавица-панна, быть может, ты знаешь змею ту, которая губит моих сыновей»... Коварная панна при этих словах побледнела, но скоро, пришедши в себя от смущенья, промолвила твердо и ясно: «Откуда мне знать, я никуда не хожу и не вижу почти никого...» Промолвивши это, она, пожелавши здоровья старухе, поспешно ушла... Выйдя из дома, у самой калитки младшего брата она повстречала и голосом, полным тревоги, сказала: «Беда! мать твоя, кажется, знает, что ты полюбил меня, милый!.. Ох, страшно мне, страшно!.. Пожалуй, она все старшему брату возьмет да расскажет, а он... Однако, прощай, мне времени нету; явись непременно сегодня ты в лес в двенадцать часов; сегодня ведь будет прекрасная лунная ночь и мы скоротаем ее, как третьего дня, мой милый, желанный товарищ... Я все расскажу тебе, сокол мой ясный, и все объясню...» И она, улыбнувшись коварно, шмыгнула в калитку...

Как только исчезла она со двора, мать вышла навстречу к сынку дорогому. Он удивился, увидев, что мать плачет горько-прегорько... «О чем ты, родная, горюешь и плачешь?» — спросил он ее... «О вас, мои детки, о вас: особенно, милый сынок, о тебе... Я знаю, все знаю... Зачем ты скрывал от меня, кто губит, изводит тебя!.. Теперь я узнала сама, увидав, как она, эта змея подколодная, нежно с тобой у калитки о чем-то шепталась... Недаром гадалка сказала, что это она вас изводит, ненаглядные дети мои... Я сначала не верила ведьме и решила сама расспросить у нее, чтобы рассеять сомненья... Сегодня пришла ко мне утром она... Сели чинно мы с ней и беседовать стали о том и о сем... И когда,

наконец, речь зашла про тебя и про старшего брата, я у ней так спросила о вас: “Скажи мне, прекрасная панна, не знаешь ли ты, отчего сыночки мои приуныли?! Не слышала ль ты от кого, быть может, влюбились они, особенно младший, в какую-нибудь лиходейку-занозу?!» Она промолчала; тогда я, заметив смущенье ее, взглянула ей прямо в глаза и опять продолжала: “Не знаю, что делать мне, бедной, как горю помочь?! Недавно ко мне приходил твой отец, — я к нему, он не знает... Металась, металась во все я сторонки и, подумав, пошла я к колдунье узнать: кто, мол, изводит моих сыновей?.. Посмотревши на воду, колдунья сказала, что милых моих сыновей изводит соседка, коварная панна с огромною черной косою... Я обомлела, сжалось сердце от боли: неужель это ты, моя ягодка-панна, ты тоже, кажись, ведь соседка, при этом еще и с чудной черною косою; другой же соседки у нас и с той же приметой близости нас не живет...” Побледнела при этих словах змее подколодная, панна, но я продолжала спокойно, как прежде, с нею о вас говорить, желая дальнейшим рассказом смутить ее так, чтоб она призналась сразу мне в том, что она вас изводит обоих ради потехи... Но не тут-то было: она совладела с собою и на вопрос мой: не видала ль она ту соседку с черной огромной косою, сказала голосом искренним, ясным: “Откуда мне знать, я никуда не хожу и не вижу почти никого...” При этих словах она злобно сверкнула своими глазами, стала прощаться со мною... Берегись ее, милый сынок, и старшему брату скажи, чтоб и он сторонился ее...» Дальше старуха не в силах была говорить: рыдания душили ее... Младший брат побледнел от испуга, услышав, что мать говорит про любимую страстно им панну... «Быть может, и вправду, — подумал с тревогою он, — прекрасная панна не любит меня и смеется над пылкой моею любовью... Быть может, и старшего брата изводит она, как меня... Недаром он грустный такой и сердитый, как будто бы знает, что панна меня полюбила и ходит ко мне на свиданья... А что, если верно, и панна смеется над нами и мне, как ему, назначает свиданья, целует, милует его, как меня, и гибель готовит нам сразу двоим... Нет, никогда не поверю тому, что

мать говорит мне про панну... Это ей кажется, милой... Она постоянно боится за нас и ходит к каким-то колдуньям, — они ей наврут чепухи, и вот она плачет, тоскует и в каждом почти человеке видит врага своего, который способен нас погубить, ненаглядных ее сыновей... Нет, нет!.. не хочу, не могу я поверить изветам какой-то колдуньи... Я знаю, что панна так любит меня, так страстно целует и нежно ласкает, что даже преступно не верить ее обещаниям и клятвам... В полночь сегодня, когда брат уснет, утомленный тревогами дня и трудом, я пойду на свидание с панной и поведаю ей, что я слышал от матери милой...»

Полночь глухая. Тихо, безмолвно в светелке двух братьев... В большие оконца ее бросает свой луч серебристый красавица ночи — луна... Слышится храп богатырский уснувшего старшего брата; кровать же меньшого пуста: он ушел на свиданье с красавицей-панной... Но недолго спокойно брат старший лежал на кровати, забывшись сном безмятежным, блаженным... Он вдруг заметался и криком и стоном весь дом огласил и мать разбудил, которая чутко спала рядом с светелкою их... Она испугалась, услышавши стоны, рыдания сына; наскоро накинувши кофту и платье, вбежала в светелку двух братьев для того, чтобы узнать, что делается там с одним из ее сыновей... Вдруг он приподнялся с кровати и, сжавши могучую руку, со страшною силой ударил по близко стоящей к кровати скамейке... Мать отшатнулась и зовом своим напрасно старалась его разбудить... Он не слышал ее зова и тяжело метался в кровати, так что она вся трещала... «Убью я ее, загублю, как она загубила меня, — кричал он со злобой, — разорву я на части ее, как она разрывала горячее сердце мое...» При этих словах он назвал ее имя... От ужаса мать закачалась, потому что то имя было ей очень знакомо: именем тем прозывалась красавица-панна — соседка ее... Значит, колдунья сказала ей правду, промелькнуло у нее в голове; значит, она, лиходейка, изводит ее сыновей... Потрясенная этим невольным признанием сына, несчастная, бедная мать, не зная, что делать, как горю помочь, ушла из светелки своих сыновей, не заметивши даже отсутствия младшего сына; кое-как добралась она

до темной каморки своей и сейчас же упала без чувств... Слабый ее организм не в силах был вынести тревог постоянных и она отдала Богу душу... Однако, недолго терзался страшными грезами сын ее старший... Он пробудился... Окинувши взором светелку свою, он увидел, что кровать его брата пуста. «Боже великий! Заступник несчастных, — шептал он с тревогой, — отгони Ты тяжелые думы, избавь от сомнений!.. Неужели то правда, и брат мой пошел на свиданье с прекрасною панной моею?!.. Неужели она надо мною смеется, неужели его она любит?!.. Нет, это лукавый меня искушает... Брат просто пошел прогуляться, прельстившись красою лунной, безоблачной ночи... Что это вздумалось мне обвинять мою верную панну в измене!.. Нет, это бессмысленный сон, в котором мне снилась измена ее, повлиял на меня, как на старую бабу... Ведь брат мой так молод!.. Она за глаза и в глаза постоянно смеется над ним, называя его красивой, капризной девчуркой... И я поступаю бесчестно, когда клевету на него, забывши про клятву, данную мною пред образом Бога в присутствии матери милой...» Но напрасно брат старший старался себе доказать, что это неправда, что это все бредни пустые: демон сомнения объял его душу... Быстро поднявшись с постели, он стал одеваться... Потом, помолившись Богу, он тихо сказал: «Нет, лучше пойду посмотрю я, чтоб разом мои разлетелись сомнения; быть может, и брата я встречу и все разъяснится...» И, тихо ступая, он вышел из дома, не зная, что мать умерла, потрясенная бредом его, в котором он все рассказал про тревоги свои и сомнения...

Луна неподвижно глядела с высокого неба... Город, объятый дыханием ночи, заснул... Везде все замолкло... Казалось, что чудная летняя ночь царила повсюду и ничто не могло нарушить тишины, но эта волшебная ночь не в силах была успокоить смятенное сердце несчастного старшего брата... Он не шел, а бежал... Лицо у него все пылало огнем, от волнения сверкали глаза... Неотвязная, страшная мысль терзала его... «А что, если правда и я их застаю... Нет, нет, лучше не думать об этом!» И он еще шагу прибавил... Уж близко то место, куда он бежал... Вот и лес... Старший

брат изнемог и присел отдохнуть на огромной колоде, где так часто они отдыхали с прекрасною панной вдвоем, возвращаясь с свиданья, обнявшись любовно друг с другом... Месяц высоко поднялся над лесом и наполнил глухие и мертвые дебри огромного леса ярким сияньем своим; казалось, какое-то чудное море без меры в длину, в ширину залило своими волнами, вплоть до в темную высь уходивших курчавых макушек соснового леса, и дальше до самых покровов небесных, все эти угрюмые чащи толпившихся стройно деревьев... В лесу было тихо... Огромные сосны стояли, как стражи, следя, чтоб никто не посмел нарушить спокойствия леса... Старший брат неподвижно сидел на колоде, погруженный в тяжелые думы... Ни лесная прохлада, ни запах смолистый, приятный не могли благотворно на душу больную его повлиять... Вдруг послышался говор... «Неужели они!..» — подумал, очнувшись, он... А говор меж тем не стихал... «Я его не люблю, — говорила коварная панна, — он противный; ты моложе, красивей его... Я его презираю... Напрасно ко мне ты, мой милый, старшего брата ревнуешь... Я ненавижу его...» — «Отчего же, скажи, — младший брат говорил ей в ответ, — он печальный и злоющий такой, хотя добрым, веселым он не был, поверь, никогда... Уж не ты ли его, как меня, моя милая панна, изводишь...?» Старший брат приподнялся с колоды и, взглянувши с тревогою в даль, он увидел луной озаренную панну и с нею идущего брата... «А, вот она, вот, лиходейка-змея», — шептал он... Бешенство им овладело, но он удержался... «Что ты, что ты, — промолвила панна в ответ, не видя близко стоящего старшего брата, — побойся ты Бога!» — и при этих словах она стала его целовать, обнимать... В глазах помутилось у старшего брата... В один миг подбежал он к безбожнице-панне и, не давши опомниться ей, выхватил нож из кармана и вонзил он ей в сердце его... Она закричала от боли, потом, закачавшись, упала на землю без признаков жизни... «Что ты сделал, злодей!» — закричал, уже пришедший в себя от испуга, брат младший... «Что я сделал!.. Молчи!.. Я убил лиходейку, которая нас загубила... Из-за нее из-за одной мы с тобою из братьев родных,

любящих нежно друг друга, врагами вдруг стали... Позабыли про мать и про Бога... Чернили друг друга пред нею, злодейкой, забывши про клятвы, данные нами пред образом Спаса-Христа... Теперь нам с тобою вдвоем нет места на свете и я вызываю тебя на дуэль... Рапиры рассудят, кому из нас жить и кормить нашу несчастную мать... Согласен ли ты?!»... «Да, согласен», — мог только вымолвить тот... И братья дрались на дуэли в лесу на самом том месте, где панна убита была... И было судьбе так угодно, чтобы взаимно они убили друг друга... Весь Минск взволновался, услышав про эту ужасную драму... Толпами народ любопытный ходил на то место, где панна убита была, где братья дрались на дуэли... Но все забывается, все... И минчане скоро забыли про братьев, убивших друг друга, про панну, сгубившую их и себя... Один только лес одиноко шумит, вспоминая про драму, ужасную драму...

**Александр Емельянов-Коханский**

**В АДУ**

Скончался богатый и знатный вельможа, стяжавший себе состоянье, богатство не честным трудом, а страшным безбожным злодейством.. Всю жизнь его совесть молчала и он притеснял без пощады и вдов, и сирот, и дряхлых беспомощных старцев...- Холодное, черствое сердце его не смягчалось при виде страданий, слез и рыданий несчастных... Он позабыл и про Бога, веру в Него утерев, и занят был мыслью одною: как можно нажить больше денег... А скупость меж тем день ото дня разрасталась и так, наконец, разрасталась, что он, заподозрив жену и детей в расхищении сокровищ, прогнал и остался один, окруженный несметным богатством... Долго он жил, притесняя несчастных и сирых... Много пролито им было, безбожником, слез ни в чем не повинных людей... Много загублено жизнью... А все для того, чтоб оставить богатства свои после смерти, которые как ему, так и другим, кроме мучений, не дали совсем ничего и дать не могли...

После смерти вельможи, грешное, брренное тело его провалилось сквозь землю, так как сырая земля не в силах была выдержать все прегрешенья, злодейства, свершенные зверем в лице человека; и только в том месте, где он провалился, осталась большая дыра... Узнавши о смерти безбожника-мужа, жена возвратилась домой, но мертвого тела его нигде не нашла и, увидев дыру, в которой исчез без возврата труп богача, порешила, что муж провалился сквозь землю и прямо попал в ад кромешный... Она пожелала узнать, что делает муж ее грешный в аду... Взломала его сундуки и, чашку большую наполнив деньгами, пошла по селенью искать человека, чтобы ту чашку с деньгами ему подарить, если он согласится спуститься в дыру ту и мужа ее повидать... Долго пришлось ей ходить: никто не хотел помочь ее горю... Она потеряла надежду узнать что-нибудь про безбожника мужа... Как вдруг к ней приходит один мужичок, по прозванию Яночка-Добрый... Он был несчастный и бедный, но с мягким, отзывчивым сердцем и, ради спасенья семьи от смерти голодной, согласился пожертвовать даже собою... Взял у вдовы богача чашку с деньгами и отдал ее

своим деткам с женою, а сам, захватив с собою одну только скрипку, спустился в большую дыру ту на крепких и толстых ремнях, сшивавшихся целых полгода в длину батраками... В аду Яночка наш увидал большой и красивый дворец и задумал присесть на крылечке его отдохнуть. Не успел он войти на крылечко, как вдали он заметил панов, едущих быстро на черных конях прямо к крыльцу... Паны погоняли и били так сильно железными прутьями бедных коней, что кровь с них лилася ручьями... Подъехав к дворцу, все паны соскочили с коней и стали одежды поспешно снимать и в покои дворца проходить... Увидевши их без одежд, Яночка наш испугался, потому что пред ним не паны уже были, а рогатые страшные черти... «Не бойся! — промолвил один из коней, когда все сокрылися черти во дворец, — я знаю тебя и знаю, что послан сюда ты вдовой богача, чтоб узнать, что делает здесь ее муж-беззаконник... Так слушай со вниманьем и верь мне, что я тот богач, чья участь тебя занимает!.. Я обратился в коня за злодейство, за скупость и осужден целую вечность возить беспрестанно панов своих, страшных чертей... А как меня мучают черти, терзают!.. Смотри, как изранено тело мое!.. Ох, тяжело мне, Яночка, тяжело!..» Не успел свои речи покончить богач, обращенный в коня, как Яночку черти позвали к себе во дворец и велели на скрипке играть...

Яночка начал играть и так ловко, что черти пришли в восхищенье и бешено стали плясать... Но в самом разгаре их пляски, Яночка взял да разбил свою скрипку... Черти тогда посадили его на горбатого, старого черта и послали на землю покупать новую чудную скрипку... Яночка, снова явившись на землю, прогнал от себя горбатого черта и зажил тихо, счастливо на деньги, заслуженные им у вдовы богача... Вдова же, узнавши, как муж ее тяжело страдает в аду, все деньги, нажитые им, раздала беднякам из боязни, чтоб участь такая ее не постигла б, какая постигла безбожника-мужа...

**Александр Емельянов-Коханский**

**НОЧЬ ПОД ИВАНА КУПАЛА**

Темной, беззвездною ночью шел мужичок-белорус лесом сосновым, дремучим... Шел он в родное селенье веселый, довольный вполне крестьянскою долей суровой... В руках своих крепких, привычных к труду, он нес малым деткам гостинцы и новое платье жене... И сердце его трепетало, когда он старался представить счастливые, милые лица хозяйки своей и детей... Его не смущало, что лесом он в час нехороший идет... О кровной семье помышляя, совсем позабыл он, что ночь, дивная ночь под Ивана Купала спустилась на землю, что папортник чудный сейчас зацветет... Уж леса осталось немного... Селение было вблизи... Крестьянин прибавил наш шаг... Как вдруг налетел, закружился злой вихрь; пробудились сосны и жалобно стали шуметь; вся нечисть лесная полезла к тропинке, где шел мужичек... И он, увидавши чудовищ, от страха упал на волшебный, расцветший в мгновенье, цветок, руками к нему прикоснувшись... Злой смех раскатился по лесу... Чудовища вмиг все исчезли... Старая ведьма, сверкая глазами и стучая грозно клюкою, к нему подошла, зашипевши подобно гадюке-змее... «Смотри, — указала рукою она на большую сосну, — под нею несметны богатства, зарытые рыцарем смелым в былые години могущества Польши великой... Так если ты хочешь иметь их, в дорогу, как прежде, ступай, но помни мое приказанье: не бей и не мучай животных своих — я их одарила умом и внятною речью людскою... Они тебе будут глаза открывать, благие советы подчас подавать...»

Мужик, удивленный, очнулся от страха — хотел попросить разъяснения такого нежданного чуда, а ведьма-старуха исчезла...

Встряхнувши косматой главою, крестом позабыв осениться, крестьянин поплелся домой...

Приходит, и диво: собака встречает его у ворот и голосом ясным и громким ему говорит, что хозяйка к любовнику ночью ходила.

Идет он на двор свой и видит, корова стоит у калитки, с тревожным и жалобным криком ему объявляя о том, что больше кормить не желает прекрасным, густым молоком

детей, порожденных на свет коварным любовником, злою, неверной, развратной женою.

Подходит к лошадке — она не желает работать, пахать и разом с коровой и собакой ему начинает кричать: «Хозяин наш добрый, уйди от семьи, живи одиноко, и будешь спокоен, богат и счастлив...»

Как громом стоял пораженный крестьянин, узнав, что жена молодая и дети, которых любит он, чужие... В глазах у него потемнело... Кровавая, страшная месть на сердце его закипела... Схвативши топор, он вбежал торопливо в родимую хату... Жена там спала на кровати, прикрывши себя одеялом... Как вор, осторожно и тихо подкрался он к ней и, открыв одеяло, ударил в висок топором...

Она захрипела... Кровь хлынула током из горла, — подушки и пышную грудь молодую окрасив... Как бешеный зверь, увидавши горячую алую кровь, он бросился к милым, невинным младенцам и всех умертвил...

Потом оглянувшись и снова к жене подбежал и, снова ударив ее топором, рассек ей лицо пополам... Семью погубивши родную, он бросил топор и выбежал вон из избы... Схватил пук соломы и стал поджигать свою хату. Изба загорелась... Увидевши яркое пламя, он бросился в лес, чтобы вырвать богатства, хранимые ведьмой-старухой...

Он долго скитался по лесу, пока не упал, наконец, схвативши дрожащей рукою сосну, где папортник чудный расцвел, и замер навеки, несчастный...

**Александр Емельянов-Коханский**

**СТРАШНОЕ НАКАЗАНИЕ**

Настала священная Пасха,  
И в храм, разодевшись, толпой  
Идут белорусы молиться  
С горячей и чистой душой...  
Торжественно колокол звонит,  
Вся церковь сияет в огнях,  
Крестьяне стоят на коленях,  
От радости блещут в глазах  
Их слезы... Суровая доля,  
Тяжелый, убийственный труд  
Забыты... Они славословят  
Воскресшего Бога и ждут,  
Что Он им поможет в работе,  
Обильную жатву пошлет,  
Не даст им погибнуть напрасно  
От горя, страданий, забот!..  
Священник обедню окончил  
И вышел на паперть с крестом  
Святить принесенные пасхи...  
Крестьяне с веселым лицом  
Целуют друг друга, как братья,  
Обнявшись, уходят домой...  
Вдруг видят, что едет на поле  
Работать земляк с бороной.  
Они удивились, как можно  
Трудиться в день Пасхи Святой!..  
К нему подбежали: хотели  
Его воротить. Но рукой  
Махнул он на них, закричавши:  
«Подите, лентяи, вы прочь!..  
Какое вам дело?! Ступайте,  
Лежите себе день и ночь,  
Я вам не мешаю, а после  
Увидим, кто будет с сумой  
Ходить по деревням и селам...  
Уйдите ж с дороги долой!»  
И он, разозлившись, ударил  
Ни в чем не повинных волов;

Они вострепнулись и скоро  
Пропали из виду... Толпа ж мужичков  
Молить горячо стала Бога,  
Чтоб Он земляка вразумил...  
Меж тем одиноко безбожник  
Работал на пашне, ни сил  
Своих не щадя, ни здоровья...  
И жадность сильней и сильней  
В душе шевелилася мрачной...  
Вдруг ангел предстал и своей,  
Рукою волов удержавши,  
Промолвил: «Великий ты грех  
Свершаешь, работая в праздник.  
Послужишь за то ты для всех  
Примером и будешь наказан...»  
И ангел, посланник небес,  
Коснувшись святою рукою  
Крестьянина, мигом исчез.  
Мужик же, не чтущий достойно  
Спасительной Пасхи Святой,  
В холодный гранит обратился  
С волами двумя, с бороной...

## КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

---

### **В. Шишков. Кедр**

Впервые: *Сибирская жизнь*. 1908, № 240, 8 ноября.

В. Я. Шишков (1873-1945) — писатель, инженер. Окончил Вышневолоцкое техническое строительное училище. Работал в Новгороде, Вологде, с 1894 г. в Томском округе путей сообщения. С 1900 г. в течение 15 лет проводил ежегодные экспедиции на сибирских реках. Публиковаться начал с 1908 г., дебютировав приведенной здесь аллегорической сказкой *Кедр*. С 1915 г. жил в Петрограде, затем в Детском Селе. Наиболее известен как автор «сибирской» прозы — рассказов, путевых очерков, повести *Ватага* (1923), романа *Угрюм-река* (1933).

С. 22. ...*П. М. Вяткину* — П. М. Вяткин (? – ?) — преподаватель словесности Томской классической гимназии, в семье которого В. Шишков жил в первые годы пребывания в Томске.

### **В. Шишков. Чары весны**

Впервые: *Сибирская жизнь*. 1912, № 97, 29 апреля. Публ. по:

*Жизнь Алтая*. 1912. № 102.

### **В. Шишков. Колдовской цветок**

Впервые: *Отечество*. 1915. № 8.

С. 20. ...*щербы* — Щерба — густой рыбный суп с крупой.

### **Д. Соловьев. Смерть шамана**

Впервые: *Новый журнал для всех*. 1915. № 2, февраль.

Д. К. Соловьев (1886-1931) — охотовед, географ, этнограф, путешественник. Родился в семье высокопоставленного чиновника министерства финансов. Выпускник Петербургского ун-та. В 1908-1914 гг. участвовал в ряде экспедиций, в т. ч. самостоятельных (Монголия, Дальний Восток, Кольский п-ов, Саяны), стал знатоком быта малых народов Севера и Дальнего Востока, собрал уникальные этнографические коллекции. После революции редактировал журн. *Охота для всех*, с нач. 1920-х гг. занимался в основном научной и преподавательской работой, был профессором кафедры охотоведения Ленинградского лесного ин-та.

### **М. Плотников. Божьи олени**

Впервые: *Сибирские записки*. 1916. № 4.

М. П. Плотников (1892 — после 1938) — сибирский поэт, прозаик, фольклорист. Публиковался с 1914 г., в основном в сибирской периодике, в т. ч. «колчаковской». Позднее сотрудничал в газ. *Советская Сибирь*, *Красноярский рабочий*, публиковался в журн. *Сибирские огни* и др. Известен как автор поэмы *Янгал-Маа*, поэтической обработки вогульских сказаний (1933, в одном томе с переделкой С. Клычкова). В 1938 г. был репрессирован (по нек. сведениям, пережил лагеря, работал после освобождения в Красноярском управлении сельского хозяйства и умер в 1953 г.).

## **М. Плотников. Шунгур**

Впервые: *Новый журнал для всех*. 1915. № 5, май.

С. 58. ...*паул* — В рассказе *Божьи олени* (см. выше) автор передает это слово как «пауль».

## **В. Анучин. «Чертов палец»**

Публикуется по авторскому сб. *Рассказы сибиряка* (СПб., 1900).

Анучин (Онучин) В. И. (1875-1941) — прозаик, поэт, этнограф, публицист, сибирский областник. Родился под Красноярском в семье рабочего золотых промыслов. Окончил церковно-приходскую школу и духовное училище, Археологический институт в Петербурге, работал в Музее антропологии и этнографии, изучал в Туруханском крае быт и шаманизм енисейских остяков. С 1897 г. публиковал рассказы, фольклорные стилизации, выпустил приключ. повесть *По городам и лесам* (1903). В 1907 г. безуспешно выдвигался в Красноярске от партии эсеров на выборах во 2-ю Гос. Думу. В 1910 в Петербурге издавал и редактировал журн. *Отклики художественной жизни*. В первые послереволюц. годы выступал в Томске с проектами «Ойротской республики», пан-азиатского государства, религии «Твори радость» и пр. Ряд произв. остались неопубликованными. После административной высылки (1923) занимался преподавательской деятельностью в Казани, с 1928 г. в Самарканде. Фигура скандальная и неоднозначная: нек. исследователи обвиняли Анучина в фальсификации писем к нему М. Горького, знакомства и переписки с Лениным, фактов собственной биографии и т.д.

## **В. Анучин. Подземное царство**

Публикуется по авторскому сб. *Рассказы и сказания. Кн. 1ая* (на тит. л.: *Сказания*) (СПб., 1911).

С. 74. ...*сиирты* — также сиртя, сииртя, сихиртя — в ненецкой мифологии мифический низкорослый народ, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев; ныне сиртя живут под землей, пасут стада мамонтов и боятся дневного света.

### **В. Анучин. Вечный скиталец**

Публикуется по отдельному изд.: *Вечный скиталец: Сибирская легенда* (СПб., 1901).

### **Ал. Горбунов. Тайны леса**

Впервые: *Огонек*. 1915. № 51, 20 декабря (2 января 1916).

### **В. Брусянин. Кто первый запел колыбельную песню?**

Впервые: *Нива*. 1910. № 28, 10 июля.

В. В. Брусянин (1867-1919) — плодовитый прозаик, журналист. Вырос в Уфе, работал землемером в Башкирии, кот. посвятил ряд произведений. В 1904-1906 гг. редактировал ряд антиправительственных газет (*Русская газета, Русский набат, Московская газета*); по делу последней был в 1908 г. привлечен к суду и приговорен к двум годам крепости. До амнистии 1913 г. скрывался в Финляндии. С 1918 г. — инспектор ревизионной комиссии по продовольствию в Петрограде; умер от тифа во время служебной поездки в Орловскую губ.

### **В. Брусянин. Белый волк**

Публикуется по авторскому сб. *Час смертный: Рассказы о голодных людях* (СПб., 1912).

## **В. Брюсянин. Вечная могила**

Публикуется по авторскому сб. *Корабль мертвых* (М., 1915).

С. 113. ...*подошел к этой лодке Нурей* — видимо, ошибочно и должно стоять «Нагиб».

## **В. Брюсянин. Чертова невеста**

Впервые: *Аргус*. 1916. № 11/12.

## **П. Белецкий. Чертово городище**

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1911. № 145/48, октябрь.

П. К. Белецкий (1871-1934) — писатель, путешественник, этнограф, фельдшер. Окончил Тифлисскую военно-фельшерскую школу. Служил военным фельдшером, в 1890 г. вышел в отставку, работал по специальности в Ставрополе. С 1897 г. жил в Петербурге, в 1898 г. присоединился к геологической экспедиции и провел два года в даурской тайге. В 1904 г. уехал в Забайкалье, в 1910-12 гг. работал фельдшером на Амурской жел. дороге, путешествовал по Дальнему Востоку. До революции выступал со статьями, очерками и рассказами в периодике, опубликовал романы *Король тайги* и *В горах Дауриш*, в советское время жил в Ставрополе, печатался в периодике, в т. ч. журн. *Мир приключений*.

## **В. Севский. Игнатов бугор**

Публикуется по: *Донская волна*, 1918. № 13, 2 сентября. Илл. взяты из публ. в журн. *Аргус*.

В. Севский (В. А. Краснушкин, 1890-1920?) — писатель, журналист. Учился в Новочеркасской гимназии и реальном училище

Папкина (Ростов н/Д). Дебютировал в журналистике в 1910 г., с тех пор и до революции сотрудничал в многочисленных изд.: *Донское утро*, *Приазовский край*, *Речь*, *Утро Юга*, *Русская воля*, публиковался также в «тонких» петроградских журналах, опубликовал роман-фельетон *Кровавая слава*, кн. *Провинциальные картинки* (1912), множество статей, очерков, фельетонов и рассказов. В 1918-1919 гг. издавал и редактировал в Ростове журн. *Донская волна*. После взятия Ростова Красной армией в нач. января 1920 г. следы Севского теряются; предположительно, он был арестован и расстрелян. По мнению некоторых литературоведов, Севский является действительным автором романа *Тихий Дон*.

### **Н. Карпов. Колдунья**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 185/44, 2 ноября.

Н. А. Карпов (1887-1945) — поэт, беллетрист, мемуарист. Уроженец Пензенской губернии. С 1907 г. жил в Петербурге, публиковал стихи и рассказы в периодических изд. В советское время работал народным следователем, начальником милиции, инспектором Рабоче-крестьянской инспекции, публиковал в осн. юмористические и сатирические рассказы. Автор НФ-романа *Лучи смерти* (1924) и воспоминаний *В литературном болоте*.

С. 152. ...*гайтан* — шнурок, обычно для нательного креста.

### **С. Гусев-Оренбургский. Темная сила**

Впервые: *Волны*. 1912. № 4, апрель.

С. И. Гусев-Оренбургский (1867-1963) — писатель. Выходец из казачьей семьи, выпускник духовной семинарии, провел шесть лет в качестве сельского священника, затем сложил сан и посвятил себя литературе. До революции — популярный беллетрист народническо-модернистского толка. Был женат на поэтессе Г. Галиной (Эйнерлинг). В 1921 г. эмигрировал в Харбин, где опубликовал ставшую знаменитой *Багровую книгу* (1922) о погромах на Украине во время Гражданской войны; с 1923 г. жил в США.

## **В. Князев. Нечистая сила**

Впервые: *Синий журнал*. 1915. № 52.

В. В. Князев (1887-1937) — поэт, сатирик. Выходец из купеческой семьи. Учился в гимназии в Екатеринбурге и земской учительской семинарии в Петербурге (1904-1905), откуда был исключен за политическую деятельность. С 1905 г. активно и под различными псевд. публиковался в сатирических журналах, был постоянным сотрудником *Сатирикона*, выступал также как детский поэт. После революции публиковался в газетах, регулярно печатал стихи-«набаты» в *Красной газете* (под псевд. «Красный звонарь», «Красный поэт» и др.). Всю жизнь интересовался фольклором, собирал и публиковал частушки, пословицы. В 1937 г. был арестован и осужден за «антисоветскую деятельность», умер на этапе в пос. Атка Магаданской области.

С. 164. ...*дяди Ипата* — В ориг. публикации везде через дефис: «дядя-Ипат», «дядя-Стяпан» и т. п.

С. 171. ...*улиги* — также улеги, грубая крестьянская кожаная обувь.

## **В. Брюсов. Рассказы Маши, с реки Мологи, под городом Устюжна**

Впервые: *Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов* (М., 1976).

При жизни вождя русского символизма, поэта, прозаика, критика, литературоведа В. Я. Брюсова (1873-1924) этот написанный в 1905 г. рассказ не печатался и был впервые опубликован по материалам архива Брюсова лишь в 1976 г. По замечанию публикатора текста Вл. Муравьева, «“Рассказы Маши с реки Мологи” <...> по форме представляют собой якобы фольклорную полевую запись, что должна подтверждать авторская справка: “Записано Новгородской губ., Устюжнинского уезда на р. Мологе, в 1905”. Рассказы устюжнинской Маши о дворовых, домовых, баечниках-пе-

ребаечниках и других представителях деревенской “нечистой силы”, безусловно, имеют фольклорный источник. Но характер работы над рукописью, с вариантами и правкой отдельных слов и выражений, убеждает в том, что перед нами оригинальное художественное произведение, лишь имитирующее фольклорный, сказовый стиль».

### **С. Федорченко. Бес да инок**

Впервые: *Помощь: Худож.-литературн. и научно-популярные сборники. № 1, июль* (Симферополь, 1922), с подзаг. «Из цикла “Сказок”».

С. З. Федорченко (1880-1959) — писательница. Родилась в семье инженер, детство провела в бедной крестьянской семье Владимирской губ. Училась в университете, в 1914-17 гг. была сестрой милосердия на фронтах Первой мировой войны. На основе своих впечатлений, почерпнутых в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, написала знаменитую трехтомную кн. *Народ на войне* (1917, 1925, 1983). В 1920-е гг. кн. вызвала скандал, когда выяснилось, что народные высказывания Федорченко воспроизводила в основном по воспоминаниям. Со второй пол. 1920-х гг. работала в основном в области детской литературы, опубликовала множество детских книг, написала роман-трилогию из эпохи пугачевщины.

### **И. Евдокимов. Складень**

Впервые: *Огонек*. 1916. № 42, 16 (29) октября.

Предположительно, автор — поэт, прозаик, искусствовед И. В. Евдокимов (1887-1941).

### **П. Карпов. Отшельник**

Впервые: *Аргус*. 1916. № 3.

П. И. Карпов (1886-1963) – поэт, прозаик, драматург. Родился в семье старообрядцев. Первые публикации относятся к началу 1900-х гг. Работал в Петербурге поденщиком, постепенно сблизился с кругами интеллигенции, начал публиковаться в периодике как поэт. Прославился скандальным романом о сектантах *Пламень* (1913), позднее конфискованным цензурой. До и после революции опубликовал ряд сборников стихов и рассказов, однако с середины 1920-х гг. и до 1950-х гг. был фактически отлучен от литературы; существенная часть творческого наследия осталась при жизни неопубликованной.

### **П. Карпов. Отшельник**

Впервые: *Аргус*. 1917. № 4. Издательство благодарит С. Никитина за предоставленные сканы данного и предшествующего рассказов П. Карпова.

### **П. Карпов. Заповедь Солнца**

Впервые: *Огонек*. 1916. № 17, 24 апреля (7 мая).

С. 224. ...*пятились от нее в ужасе* — В оригинальной публикации, очевидно, опечатка: «...пятысь от нее в ужасе».

### **Д. Крючков. Серебряные животики**

Впервые: *Голос жизни* (Пг.). 1914. № 8, 30 ноября, за подписью «Димитрий Крючков».

Д. А. Крючков (1887-1938) — поэт, критик. Учился в Петербургском ун-те на юридическом факультете, посещал класс пения в консерватории и пел в опере, затем работал в частном Международном банке. В нач. 1910-х гг. примыкал к петербургским эгофутуристам, выпустил кн. стихов *Падун немолчный* (1913) и *Цветы ледяные* (1914), путешествовал по России. После революции занимался редакц. работой, переводами, публиковался в пе-

риодике, вел православную миссионерскую деятельность, учился в Богословском ин-те, затем перешел в католичество. С 1923 г. судьба Крючкова сложилась трагически: в конце 1923 г. он был арестован и в мае 1924 приговорен к 10 годам тюрьмы по делу католических общин, после освобождения в 1932 г. преподавал вокал и иностранные языки в Ярославле, был вторично арестован в августе 1937 и расстрелян в январе 1938 г.

В сказках Д. Крючкова широко используются слова из северных народных говоров; некоторые из них разъяснены ниже.

С. 226. ...*тупе* — Тупа — традиционное лопарское жилище.

С. 226. ...*нойда* — шаман у саамов (лопарей).

С. 226. ...*куйпуге* — Куйпуга (также куйпога) — максимальная убыль воды при отливе.

С. 226. ...*тайболу* — Тайбола — густая лесная чаща, труднопроходимый лес.

### **Д. Крючков. Рачий царь**

Впервые: *Огонек*. 1915. № 43, 25 октября (7 ноября).

### **Д. Крючков. Мураш премудрый**

Впервые: *Огонек*. 1916. № 52, 25 декабря (7 января 1917), за подписью «Димитрий Крючков».

С. 234. ...*ономнясь* — недавно, несколько дней тому.

С. 234. ...*зугай* — филин.

С. 235. ...*поднести простяку* — т. е. водки.

### **Д. Крючков. Досюльщина о том, как на Руси гнус пошел**

Впервые: *Огонек*. 1915. № 8, 21 февраля (5 марта), за подписью «Димитрий Крючков».

С. 240. ...*жигалюхи* — ящерицы.

С. 240. ...*бучни* — шмели.

С. 240. ...*ширихан* — оборванец.

С. 240. ...*вепреслон* — фантастическое животное, упоминаемое в славянских бестиариях; изображается в самых различных видах.

С. 240. ...«*Камень прибежище зайцем*» — Пс. 103:18, в синодальном пер. «Каменные утесы — убежище зайцам».

### **И. Соколов-Микитов. Соль Земли**

Впервые: *Аргус*. 1916. № 11/12, за подписью «Ив. Соколов».

И. С. Соколов-Микитов (1892-1975) — писатель, журналист, путешественник. Родился в Калужской губ. в семье управляющего лесными угодьями. Был исключен из 5-го класса реального училища в Смоленске за участие в подпольных кружках. В 1910 г. переехал в Петербург, где забросил занятия на сельскохозяйственных курсах ради литературы (первое произв. — приведенная здесь сказка). С 1912 г. — секретарь газ. *Ревельский листок*. Плавал на торговом судне, побывал во мн. странах Европы, Африки и Бл. Востока. Во время Первой мировой войны был санитаром на фронте. В 1919 г. записался матросом на торговое судно и в 1920 г. оказался в вынужденной эмиграции, когда корабль был продан за долги в Англии. В 1920-22 гг. жил в Англии и Германии. По возвращении в СССР много путешествовал, участвовал в ряде арктических экспедиций О. Шмидта и др. Во время Второй мировой войны — спецкор *Известий*.

Сказка *Соль Земли* публиковалась позднее в несколько измененном виде и с посвящением А. Ремизову.

### **И. Соколов-Микитов. Лесовое**

Публ. по авторскому сб. *Кузовок* (Берлин, 1922), откуда взяты и илл. неизвестного художн. Илл. Н. Любавиной к сказке «Гость долгий» взяты из книжечки *Засуноя* (Пг.: Артель художников «Сегодня», 1918).

### **И. Соколов-Микитов. Бедовое**

Впервые: *Слохохи* (Берлин). 1921. № 1, ноябрь.

С. 258. *Опять я на старом Афоне* — И. Соколов-Микитов побывал на Афоне накануне Первой мировой войны и нек. время был послушником одного из афонских монастырей.

С. 260. *...Миша Ялгубцев* — М. П. Ялгубцев (? – ?), журналист, друг А. Куприна, репортер *Петербургской газеты* (публиковался и в др. изд.); в 1918 редактировал юмористический журн. *Волынка*.

### **В. Устругова. Кот посхимился**

Впервые: *Нива*. 1918. № 19, 11 мая (28 апреля).

В. К. Устругова-Осташевская (? – 1934? 1944?) — актриса Александрейского театра, исполнительница народных и собственных сказок и былин. Училась в Институте гражд. инженеров, до начала сценической карьеры совместно с мужем Д. Уструговым выполняла архитектурные проекты. В 1915-17 гг. выступала, в частности, на совм. вечерах с С. Есениным и Н. Клюевым. В 1930-х гг. оба ее сына и дочь были арестованы и расстреляны.

### **А. Рославлев. Дровосек**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 149, 24 февраля.

А. С. Рославлев (1883-1920) — поэт, прозаик, публицист, автор более двух десятков кн. (среди которых романы, сб. рассказов, поэтические сб.) и многочисленных публикаций в периодике. После революции вступил в РКП (б), редактировал в Новороссийске газ. *Красное Черноморье* и основал Театр политической сатиры. Скончался от тифа в Краснодаре.

### **А. Рославлев. Чертова телега**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 202/9.

### **А. Рославлев. Клопы и крысы**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 144/3, 20 января.

### **А. Рославлев. Лапоть**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 195/2.

### **А. Рославлев. Три дуба**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 185/44, 2 ноября.

### **А. Рославлев. Сидень-посидень**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1912. № 192/51, 21 декабря.

## **А. Рославлев. Анчутка**

Впервые: *Всемирная панорама*. 1913. № 225/32.

## **А. Рославлев. Козлиные сказки**

Впервые: *Синий журнал*. 1915. № 7.

## **А. Рославлев. Сказочки**

Впервые: *Волны*. 1913. № 4, март.

## **А. Емельянов-Коханский. Мечь и другие рассказы**

В книге полностью воспроизведен авторский сб. А. Емельянова-Коханского *Мечь*. — *Коварная панна*. — *В аду*. — *Ночь под Ивана Купала*. — *Страшное наказание: (Легенды)* (СПб., 1897).

А. Н. Емельянов-Коханский (наст. фам. Емельянов, 1871-1936) — поэт, прозаик, иллюстратор, переводчик. Родился в обедневшей дворянской семье. Широко сотрудничал в юмористической периодике, писал тексты и музыку «цыганских» романсов, подражания народным книжкам, переводил с нем. и франц. (Ф. Ницше, А. Додде и др). Прославился эпатажно-декадентским сб. стихов *Обнаженные нервы* (1895), кот. позднее объявил пародийным. В конце 1890-х-нач. 1900-х гг. опубликовал ряд романов и повестей, в 1906-1916 гг. редактировал юмористический журн. *Шутенок*. После революции отошел от литературы, занимался подбором иллюстративного материала для газет и журналов, в последние годы жизни страдал психическим расстройством.

## Оглавление

В. Шишков. Кедр	8
В. Шишков. Чары весны	12
В. Шишков. Колдовской цветок	16
Д. Соловьев. Смерть шамана	29
М. Плотников. Божьи олени	38
М. Плотников. Шунгур	57
В. Анучин. «Чертов палец»: (Из рассказов старого сибиряка)	64
В. Анучин. Подземное царство	72
В. Анучин. Вечный скиталец: Сибирская легенда	77
Ал. Горбунов. Тайны леса: (Из уральских легенд)	86
В. Брусянин. Кто первый запел колыбельную песню?: (Уральская легенда)	91
В. Брусянин. Белый волк: (Башкирская легенда)	97
В. Брусянин. Вечная могила	108
В. Брусянин. Чертова невеста	116
П. Белецкий. Чертово городище: (Легенда)	130
В. Севский. Игнатов бугор: Донская легенда	137
Н. Карпов. Колдунья	146
С. Гусев-Оренбургский. Темная сила	155

В. Князев. Нечистая сила: (Рассказы дяди Ипата)	164
В. Брюсов. Рассказы Маши, с реки Мологи, под городом Устюжна	173
С. Федорченко. Бес да инок	179
И. Евдокимов. Складень	182
П. Карпов. Отшельник	191
П. Карпов. Анархисты	203
П. Карпов. Заповедь Солнца	218
Д. Крючков. Серебряные животики: (Лапландская сказочка)	225
Д. Крючков. Рачий царь: Поморская сказка	228
Д. Крючков. Мураш премудрый: (Онежская небывальщина)	233
Д. Крючков. Досюльщина о том, как на Руси гнус пошел	239
И. Соколов-Микитов. Соль Земли: Сказка	244
И. Соколов-Микитов. Лесовое	250
И. Соколов-Микитов. Бедовое: Сны	257
В. Устругова. Кот посихимился: Сказка сказа	263
А. Рославлев. Дровосек: Сказка	266
А. Рославлев. Чертова телега: Народная сказка	269
А. Рославлев. Клопы и крысы: Народная сказка	272
А. Рославлев. Лапоть: Сказка	275

А. Рославлев. Три дуба: Сказка	278
А. Рославлев. Сидень-посидень: Сказка	282
А. Рославлев. Анчутка: Сказка	285
А. Рославлев. Козлиные сказки	288
А. Рославлев. Сказочки	295
А. Емельянов-Коханский. Месть	302
А. Емельянов-Коханский. Коварная панна	308
А. Емельянов-Коханский. В аду	317
А. Емельянов-Коханский. Ночь под Ивана Купала	320
А. Емельянов-Коханский. Страшное наказание	323
Комментарии	326

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.